

Инна Лесовая

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ИТАЛИИ

Ему так хотелось увидеть! Кажется, одной секунды было бы достаточно для того, чтобы охватить взглядом и вобрать в память окружающее, все, что находилось здесь, совсем рядом и давало о себе знать волнующим слиянием голосов, скрипов, шелестов.

Того, что называется воображением, у него не было. Он мог лишь подставлять ко всем этим звукам какие-нибудь фотографии, отрывки из фильмов, по большей части немых, лишенных не только красок, но и воздуха, и солнца. Он догадывался, что на самом деле все выглядит совсем иначе, гораздо красивей.

Так оно и было.

Солнце светило прямо в затылок Матери, которая сидела у окна. Казалось, мягкие лучи с наслаждением проникают в ювелирную путаницу завитков, выбившихся из высокого узла. Этот узел, очень редкого русого цвета, как бы сталкивал на лоб новенькую шляпку из прелестного светло-серого фетра, овальную, с высокими, как борта лодочки, полями – так что хорошо была видна припавшая к низкой тулье белая креповая роза. Вместе с серыми атласными листиками она была утоплена в сборочках почти прозрачной ткани. Из такой же ткани были сделаны рюши и большое жабо на шелковой блузке, серой в белую полоску. Стоило где-то приоткрыться двери, морскому ветерку скользнуть в распахнутое окно – и все эти складочки, оборочки взмывали, а потом долго колебались, будто искали, куда опуститься.

– Знаешь, на что похожа твоя блузка? На пар... Когда у нас в марте начинают таять сугробы... Вот так же ходит зигзагами.

– Это от мадам Помье. Я все ждала, когда ты заметишь.

– Я сразу заметил, – улыбнулся Отец.

– Нравится?

– Очень.

– Мадам Ларок уговорила меня сфотографироваться в этом наряде.

Дымчатый рюш чуть отступал от шеи, подчеркивая ее нежную линию, резким изгибом переходящую в линию подбородка. Лицо было подсвечено снизу – то ли белой скатертью, то ли бликами, играющими на тарелках. Это теплое тайное сияние как бы объединяло их и отделяло от всего постороннего.

Именно своим особым освещением и был приятен ресторанчик синьоры Матинелли. Свет стелился над столиками, оставляя темным и прохладным высокое пространство под потолком. Посетителей было совсем мало, и в зале слышался шум моря, шелест деревьев, азартные выкрики чаек.

Здесь они обычно праздновали возвращение Отца из его деловых поездок. Поездки были частыми, но недолгими. Так что кому-то со стороны могло показаться, что слишком бурно проходят все эти встречи: с подарками, рассказами, шумными выражениями радости. Но такова уж была эта семья.

Завтрак, обед, прогулку – все здесь превращали в знаменательное событие. Особенно Мать.

Мать была человеком, счастливым от природы. Маленькому Мики пошел уже шестой год, а она продолжала рассказывать историю своего замужества, как самую свежую новость, причем история эта – в сущности, вполне обыкновенная – выглядела в ее изложении немислимым, фантастическим стечением обстоятельств. Мики любил ее слушать больше, чем любую сказку.

Так могла бы радоваться своему незаслуженному везению какая-нибудь дурнушка, а не женщина, привыкшая к всеобщему восхищению, почти что красавица. Считалось, что ее портит радостно вздернутый, островатый носик, хотя, возможно, именно он и придавал ее лицу особое обаяние. Да и не вязался бы, пожалуй, классический нос с этими глазами, чуть раскосыми и удлинненными, как два листика вербы, с этими бровями, которые начинались с забавных вертушек, придававших лицу неустойчивое выражение – будто она попыталась нахмуриться, но не выдержала и улыбнулась.

Эта ее улыбка... как бы раздвоенная виноватым треугольничком верхней губы... Казалось, ей неловко показывать свои милые зубки, неловко быть такой молодой, такой везучей, такой любимой.

Отец вернулся накануне, и так уж вышло, что сразу нагрянули гости и сидели допоздна. Все утро было занято возней с ребенком, и поговорить никак не удавалось.

Замученное пирожное Мики громоздилось посреди тарелки горкой крошек с шишкой вылезшего крема. Шоколад в чашке почти остыл. Белый беретик с синим помпоном висел на спинке отодвинутого стула. Самого Мики не было. Племянница хозяйки повела его смотреть щенков спаниеля.

Где-то в глубине ресторана тихо звенела посуда. Пахло кофе, морем и олеандрами.

– Весна в Италии... – сказал Отец. – Что может быть лучше?

– Весной везде хорошо, – улыбнулась Мать.

Солнце осветило угол ее глаза, зеленый зрачок стал глубоким и прозрачным.

– Почему ты хочешь обязательно оставить Россию? Я понимаю – раньше. Но сейчас! Все говорят, в России такие перемены к лучшему! И война вот-вот закончится...

Он поморщился с добродушной досадой.

– Твои друзья обольщаются. Это все романтика. А я реалист. На мой взгляд, там начинается что-то несусветное. И я не хочу даже разбираться в этом. Жаль, что нет никого, кто мог бы вместо меня закрыть там все дела. Так не хочется ехать! В любом случае мне было бы спокойнее, если бы вы отправились в Бостон прямо сейчас. Поживете пока у Симона. Он будет счастлив...

– Нет-нет! – запротестовала она. – Без тебя – никуда!

– Конечно, это невозможно. В твоем положении... Одна на пароходе...

– Чепуха! Я не боюсь плыть на пароходе. Я прекрасно себя чувствую!

Прекрасно! Помнишь, как меня тошнило, когда я носила Мики? Днем и ночью! А сейчас хоть бы что! Знаешь, что я тебе скажу? Это какой-то удивительный ребенок! Я каждое утро просыпаюсь счастливая! Мне все время весело! – Ее голос звучал возбужденно, будто били деревянной палочкой по хрустальному

бокалу. – Это она! Я чувствую, что это девочка. Я говорила тебе тогда, с Мики, что стала чуть-чуть мужчиной. А сейчас я ощущаю себя... дважды женщиной!

– Быть женщиной больше, чем ты есть? – рассмеялся он и накрыл ее ручку своей большой осторожной рукой.

– Нет-нет! Я прямо чувствую, как смешиваются два характера! Вот увидишь: она... Необыкновенно веселая и смелая!

Пожалуй, он чуть-чуть ревновал жену к этому ребенку, которого она вынашивала в непроходящем лихорадочном нетерпении – так на вокзале ждут дорогого человека, поезд которого должен прибыть с минуты на минуту. Что-то его беспокоило. Он даже советовался с доктором – разумеется, тайком от нее, – но доктор не понял его опасений. "Вам можно только позавидовать", – сказал он.

И действительно: она была совершенно здорова, очень нежна и с ним, и с сыном. Что же до зависти, то им в самом деле завидовали. Причем не их красоте, элегантности, явному благополучию, а удивительному сочетанию приятных характеров.

Объективно он был для нее слишком высок, широк в плечах и тяжел. Но в этой тяжести, в чуть намечавшейся полноте было что-то располагающее. Казалось, он добродушно тяготеет и чрезмерной длиной своих ног, и чрезмерной шириной плеч, и грудью, излишне мощной, как тяготеет не по погоде теплой одеждой. У него даже привычка была такая: обеими руками держаться за лацканы пиджака, будто он намеревается его сбросить. Он двигался как бы чуть замедленно, а вместе с тем аккуратно и ловко.

Синьора Матинелли, хозяйка ресторана, высоко ценила его деликатное обхождение с ее новыми стульями.

– Что значит хорошее воспитание! – сказала она, выглядывая в зал сквозь щель между плюшевыми шторами. – Никогда не развалится на стуле, как другие. Понимает!

– А какой красавец! – поддержала синьора Боллони и переместилась за спиной хозяйки так, чтобы лучше видеть их столик.

Строго говоря, красавцем он не был. Однако крупные и необычные черты привлекали к себе внимание не меньше, чем его рост. Лоб был вылеплен мощными гранями. Густой черный волос, казалось, теснил назад встречный ветер. Что еще... Спокойные черные глаза. Нос. Вот у него-то как раз нос мог бы быть и получше... Чуть горбатый, с округлым утолщением на конце, он казался маловат для такого лица и несколько простил его. Вообще чертам Отца недоставало мужественной агрессии. Но этот недостаток замечательно скрадывали большие жесткие усы.

– Кстати, – сказала Мать, – надо что-то решать с Мики. Пора уже все ему рассказать. Я не решалась без тебя. Знаешь, еще неизвестно, как он это воспримет. Мики привык, что все вокруг восхищаются им, обожают его... А тут появится маленький, и мы должны будем делить свою любовь. А вдруг он станет ревновать?

– Бог с тобой! Да Мики будет счастлив, уверяю тебя! Давай прямо сейчас и расскажем ему!

– А... как мы ему объясним? – разволновалась она.

– Да так, как есть.

– Хоть бы он там не выпросил у них щенка. – Оба посмотрели в сторону желтой шторы. – Нам еще только щенка не хватало на корабле!

Он снова помрачнел.

– Какая-то безвыходная ситуация! Ехать на последних месяцах – скверно, с грудным ребенком – еще хуже. Ей-Богу, лучше всего тебе было бы уехать прямо сейчас.

– Пожалуйста, не начинай сначала! И потом, ты забываешь: я должна спеть еще две "Богемы"! Кстати, Курье предлагал концерты в Генуе. Но я отказалась. У Курье началась истерика, когда я ему рассказала. Эта современная мода только тем и хороша, что можно до самых родов проходить и никто ничего не заметит. А звучу я потрясающе! Ты не представляешь себе! Как никогда! Вот как-то она так удачно подпирает мне диафрагму... Такое впечатление, что она мне сознательно помогает! Правда, маленькая, ты мне помогаешь? – обратилась она как бы в собственную свою глубину и привычно коснулась рукой того места, где задумчиво лежал на боку Зародыш. Он скользнул, подался вперед, поближе к ее руке, и несколько раз ткнулся в ее ладонь плечом и головкой.

– Вот! Вот! Ах, как жаль, что ты не можешь услышать! Она мне отвечает! Мы с ней все время разговариваем! Вот ты не веришь, а я тебе покажу дома! Спрошу у нее что-нибудь... Иногда я с ней советуясь и делаю так, как она подсказывает!

– Сокровище мое! Ты меня просто пугаешь! – улыбнулся он растерянно. – Ребенок крутится оттого, что ему чего-то не хватает. Ты напрасно носишь корсет. Я всегда считал, что он вреден, и особенно в период беременности.

– Да разве это настоящий корсет – то, что мы сейчас носим!

– Не знаю, не знаю, – сказал он. – Во всяком случае, меня смущает, что плод начал шевелиться слишком рано.

– Ну и Мики рано начал вертеться!

– С Мики мы не знали сроков...

– Да, – улыбнулась она. – Наша девочка еще не родилась, а успела уже хорошо путешествовать... А что ей еще предстоит!..

Крепко сомкнутый ротик Зародыша покривился. Он знал, что когда-нибудь из таких спазмов начнет получаться человеческая улыбка. Он вообще много чего знал – куда больше своих молодых беспечных родителей. Больше, чем ему самому суждено было узнать впоследствии, после рождения.

То, что называлось "Будущее" или "Жизнь Доры", лежало перед ним, как огромный кристалл, прозрачный и обозримый, во всех красках, звуках и ощущениях. И Зародыш, не напрягаясь, видел каждый миг своего будущего одновременно. Все это двигалось, светилось, дышало. Утомляло рябью не сменяющих друг друга дней и ночей. И одновременно маленькая Дора грызла крошечные пыльные груши на длинных, как у вишен, палочках, и завязывала на затылке марлевый бант, и отпаривала в тазу с горячей сывороткой сухие, покореженные ступни, уродливые, как вывернутые из земли корни, и взлетала в гранд жетэ, едва коснувшись сцены пуантом, и опускалась то в пустых, то в набитых растерянными людьми коридорах, быстро семенила ногами, как Жизель, не разгибаясь, от двери к двери... "У меня дети, у меня почти тысяча человек

детей!" Требовала, стучала кулаком: "У меня тысяча!.." И стояла на вокзале во Львове, и серые каменные головы заглядывали через ее плечо в записку с адресом свекрови, и уже подходила к ее дому, уцелевшему среди руин, под вальс из "Евгения Онегина", под сто вальсов из "Евгения Онегина", которые накладывались друг на друга, на "Танцы маленьких лебедей", на целые стаи "маленьких лебедей", и "Апассионат", и пионерских песен. И за всем этим, как грубый, настырный аккомпанемент – стук колес...

Зародыш не понимал, зачем ему, маленькому и беспомощному, так непомерно много открыто. Почему он выдерживает все это знание, под которым бы рухнул зрелый человек, вольный в своих поступках? И что это? Результат случайного сбоя в заведенном порядке жизни – или, наоборот, то, что дано каждому живому существу: увидеть, узнать и, родившись, все забыть, но остаться закаленным, втайне готовым к тому, что должно на тебя обрушиться?

Более правдоподобным казалось второе. Иначе трудно было бы объяснить, как Дора смогла перенести все свои несчастья. Сам Зародыш подумывал порой, не следует ли ему, несколько раз повернувшись на своей коротенькой пуповине, так затянуть ее... Но... Во-первых, ему было ясно, что из этого ничего не выйдет: иначе не стоял бы перед ним живой движущийся кристалл... Да и жаль было некоторых мгновений: этих полетов в лучах прожектора, первого снега, фантастического появления Бронекса – в темном коридоре театра, куда Дора зашла мимоходом, совершенно случайно, и увидела будто зародившуюся в самом конце, во тьме, за поворотом легкую мужскую фигурку, вертящуюся волчком с раскинутыми руками прямо ей навстречу и замершую, застывшую перед ней с распростертыми объятьями и смущенным лицом... Да, это тоже было красиво – может быть, не менее красиво, чем нынешний день, – хотя и без моря, без олеандров, без дорогой одежды, без множества вещей, так пленительно звенящих, шуршащих вокруг.

Все эти вещи, все эти мелочи очень много значили для Зародыша. Он не мог их вообразить, а между тем прекрасно знал. И не только вещи. Он знал город, он знал улицы – по звукам, по особому гулу пространства, по скрещению сквозняков, которые говорили ему даже больше, чем скрип и скрежет под ногами Матери, чем ощущение подъемов и поворотов.

А уж как хорошо он знал собственный дом! Завихрения воздуха на лестнице, голос каждой двери... Да что там – если даже дверь была открыта, Зародыш понимал, в какую комнату они входят, сколько в ней окон, пуста она или заставлена мебелью. Все звучало и сообщало о своем присутствии: внесенная гитара, раковина на камине... У каждой вазочки, каждого стаканчика был ни с чем не сравнимый выдох. По-своему звучала даже пугающая, фальшивая глубина зеркала.

Помогало ли ему знание будущего так хорошо ориентироваться в окружающем мире? Пожалуй, нет. В этом просто не было нужды. Слух заменял все. И это даже не вполне можно было назвать слухом, ибо Зародыш ощущал звуки, как прикосновения, всем своим крошечным тельцем. Эти шумы-прикосновения были приятными и неприятными, любимыми и нелюбимыми. Особенно ему нравился близкий шелест листы. А еще – далекое кудахтанье

курицы, шум моря, звяканье ложечки в чашке с кофе. Или такое, например: он очень любил молчание колоколов, молчание открытого рояля, арфы. Все это пело невыносимо прекрасно, как поет про себя человек, не размыкая губ.

Так пела про себя Мать. Было несколько чудесных мелодий, которые постоянно вибрировали в ее горле, в небе, в той части груди, где обычно прикалывалась брошь... По этому тайному пению Зародыш всегда знал, какое настроение у Матери: каждому настроению соответствовала своя, особая мелодия. В последнее время все чаще прорывалась одна – очень красивая и на первый взгляд даже радостная. Сначала казалось, что это та мелодия, с которой утром просыпаешься счастливым. Но когда она повторялась второй, третий, пятый раз, свет, излучаемый ею, начинал слепить. Становилось почти непереносимо грустно, в горле скапливались слезы странного предчувствия.

Зародыш вслушивался и гадал: не передается ли Матери его собственное знание? Вот уж чего ему не хотелось – омрачить эти счастливые дни! Он знал, что их остается мало, и дорожил каждой минутой покоя, каждой минутой присутствия Отца.

Когда Отец уезжал, Зародыш еще не осознавал себя. Но первым, что проникло к нему из окружающего мира, было ожидание – оно волнами напряженного гула расходилось от Матери, оно нетерпеливо тикало рядом, в маленьком тельце Мики. И все разговоры Мики и Матери, между собой и с другими людьми, были об Отце, о его скором приезде.

Как только Отец появился, Зародыш их понял. Он так быстро привязался к Отцу, так ценил каждую минуту его близости! Оказалось, что Мать ничуть не преувеличивала, когда уверяла свою подругу: “У него такой взгляд! Как прикосновение! Когда он смотрит на что-то, это место согревается!” И еще она говорила: “Вокруг него всегда что-то такое стоит, вроде облака, и всегда хочется подойти поближе”.

Бедный Зародыш! Он единственный знал, что этого огромного человека, создающего вокруг себя особое пространство, где каждый чувствует себя любимым и защищенным, – этого человека не станет. И уже совсем скоро. Зародыш еще не мог плакать, он только горестно раскачивался, когда большая рука приближалась к нему. Он всем своим крошечным тельцем прижимался к отцовской ладони – так подставляют себя лучам солнца. Старался запомнить это ощущение и журчащие толчки отцовского пульса, раскаты низкого приятного голоса, легкий присвист в словах, цепляющих жесткие волосинки усов... И знал, что ничего не запомнит! Он мечтал лишь об одном – о том, чтобы эта их счастливая жизнь продолжалась как можно дольше, ценил каждую ее минуту. И постоянно был несчастлив, постоянно повторял про себя: “Только бы не сегодня”.

Так уж странно все было устроено: жизнь четко делилась на две половины. Его нынешнее существование, о котором ему наперед ничего не было известно – и жизнь Доры, которую он видел без пробелов и дымки времени, но тоже не с начала, а лишь с того мига, когда Зародыш осознал себя второй раз, уже будучи отдельным человеком, девочкой, остриженной налысо, в широком линиялом платье, сползающем то с одного, то с другого плеча. И девочку звали Дорой. Она знала свою фамилию, знала, что сирота, что сначала бывает весна, потом – лето.

Умела шнуровать ботинки и петь три песни. Знала, что в новый детдом попала недавно, но не помнила, где жила раньше. До того яркого дня простиралась мутная тьма без проблесков, и откуда-то из этой тьмы выступили две женщины в одинаковых шляпках из белого полотна, широкие поля которых образовывали одну общую тень, когда женщины шептались на каком-то непонятном языке. Они сказали, что зовут их тетя Вера и тетя Фаня, и дали ей кулек с черешнями. Дора проглотила три прямо с косточками, пока они сообразили объяснить ей, что косточки нужно выплевывать. Дора видела, что не очень-то понравилась тете Вере и тете Фане, и не совсем понимала, зачем они пришли. Вид у них был какой-то беспокойный: то ли торопились, то ли боялись чего-то. И с жалостливым недоумением всматривались в ее лицо. Дора тоже боялась – что ее вовремя не отведут на обед. Черешни кончились, и она растерянно терла одну об другую липкие ладошки. Женщины смотрели и не знали, что еще сказать или сделать. Наконец, одна сообразила: "Что тебе принести, когда мы придем в следующий раз?" "Мячик!" – оживилась Дора. Никогда до этого ей и в голову не приходило, что можно иметь собственный мяч. Но с того дня пошел отсчет времени – началось ожидание мячика. "Тетя Вера" и "тетя Фаня" так больше никогда и не появились. Дора много лет мстила им: каждый раз, заполняя анкету, в графе "Имеются ли родственники?" писала жирное "нет".

Вслушиваясь в разговоры родителей и их знакомых, Зародыш пытался узнать, кто же они были, Фаня и Вера. Но имен этих пока не упоминали. Те фразы, которыми Фаня и Вера обменялись на неизвестном языке, Зародыш, в отличие от Доры, прекрасно понял, но они ничего не проясняли. Одна спросила: "Почему так много еврейских детей?", а вторая ответила: "Разве не ясно, почему?"

Зародыш вообще понимал все, хотя не знал ни одного языка. Слова то ли не существовали для него, то ли самим звучанием открывали свой смысл. И не имело значения, на каком языке говорят родители, на каком – синьора Матинелли с синьорой Боллони, а на каком – две подруги-американки за соседним столом.

"Ты узнала ее?" "Ну конечно! Она просто прелесть. Но он – вообще редкий красавец! Как ты думаешь, он тоже певец?" А за двумя стенами синьора Матинелли говорила племяннице, которая мыла под умывальником пухлые ручки Мики: "Ах, этот Микеле! Он похож на ангела из Санта-Тринита!" "Даже там нет такого", – сказала племянница и повела Мики в зал. А синьора Боллони, когда за ними закрылась дверь, добавила: "Слишком, слишком красивый ребенок! Такие долго не живут".

Три ветерка столкнулись в центре зала. Мики подбежал к родителям.

– Они такие хорошенькие! – зашебетал он. – Вот такие малюсенькие, а ушки длинные! И вот так висят!

В голосе его дрожала тайная умоляющая нотка.

– Может, попросить для тебя другой шоколад?

Мики растерянно уставился на свое пирожное и помотал головкой.

– Я всегда люблю холодный.

– Давай-ка я покормлю тебя, Мики! – предложила Мать и взялась за ложечку.

– Это стыдно, – сказал неуверенно Мики. – Я уже большой...

– Ничего, – успокоил его Отец. – Иногда можно.

Свет, отраженный тарелкой, осветил шейку, подбородок. Мики покорно тянулся навстречу ложке.

– Он совсем не хочет есть! – привычно пожаловалась Мать.

– Давай, давай, Мики! – поторопил Отец. – У нас есть для тебя большой сюрприз.

– Какой сюрприз? – встрепенулся Мики.

– Ну вот... – сказала Мать. – Nun wird er denken, dass wir damit einverstanden sind, das Hundchen von Signora Matinelli zu nehmen. – И негромко рассмеялась. *

* – Теперь он подумает, что мы согласны взять щенка у синьоры Матинелли. (нем.)

Мики наконец проглотил остаток пирожного, и они направились к выходу. Немного постояли на площадке, привыкая к яркому дневному свету.

Потрескавшиеся ступеньки спускались к дорожке, идущей вдоль пляжа. Зародыш не любил этот путь. Скрип песчинок между мрамором и кожаными подошвами обжигал, крокотанье гальки под ногами матери, казалось, оставляло на его теле синяки. Беспорядочное дерганье и колыханье мешало Зародышу сосредоточиться. Он боялся упустить какие-то важные их слова, которые могли бы прояснить что-нибудь в его Будущем. Что же все-таки произошло с Отцом? И когда именно это случится? Не скажет ли он прямо сейчас: "Да, кстати! Завтра я уезжаю в Россию".

Россия... Россия... Мать повторяла это слово, как некое сказочное заклинание. Красивое сочетание звуков, не имевшее ничего общего с тем, что видела Дора: осыпающийся хлеб, мрачные просторы гниющей осени, наскоро присыпанные шершавым снегом – снегом, снегом, который все густеет, так что сливаются земля и белое небо, и уже неясно, куда он едет, Дорин поезд, вечный Дорин поезд. Едет, черный, прорезая своей немыслимой длиной долгую Дорину жизнь, так что девушки в белых пачках и девочки в черных галошах и марлевых платяцах, и тысячи школьных тетрадей, исчерканных красными чернилами, будто выпархивают из-под его колес, на мгновение приподнятые резким ветром, и тают где-то далеко позади. А впереди эти станции, полустанки, разъезды, небритые, злые от бессилия мужчины, уверяющие Дору, что вагонов больше нет ("что же, по-вашему, важнее: отправить военный завод или ваших детей?!"), а Дора, как обезумевшая Жизель, бросается от начальника к начальнику ("детей, конечно, детей!"), пробивает дорогу в толпе, ревушей от давки и отчаяния, протискивается, безжалостная к этой толпе, с тайной надеждой отыскать в ней знакомые лица. "Дорогу, дорогу!" "Детдом номер пять – первый вагон! Детдом номер восемнадцать – второй вагон! Ярцевский дом сирот – третий и четвертый вагон!" "Врачи, имеющие дипломы! Подойдите к начальнику поезда!" "Девушка, я биолог. Я смогу быть полезным" "Девушка, я педиатр. Диплом в дороге пропал, нас бомбили. Честное слово, я педиатр!" "Не имею права. Не имею права". А Доре

только двадцать три года. Только двадцать три года! И она ждет, когда двери захлопнутся, когда отстанут темные люди, бегущие за вагоном, и снова потянутся белые снежные поля. А Мать произносит слово "Россия" – так нежно и певуче, так неправильно и по-итальянски, будто оно сродни словам "Россини", "Росси", "Розина"... Так что Зародышу кажется, что Мать никогда и не бывала в России.

Господи! Ну что бы им так и остаться в этом городе, на этом берегу! Все было бы по-другому! И Дора была бы совсем другая, и не было бы у нее жесткого, негибкого голоса, которого так стыдился Зародыш. А был бы такой же легкий и звенящий, как у Матери, и она гуляла бы с ними по берегу, и Отец присаживался бы на корточки, касаясь одним коленом гальки, и слова жужжали бы в его усах, как ласковые пчелы.

Зародыш слушал. Редкие слабые волны, лизнув берег, уже не возвращались... с сипеньем исчезали в широкой полосе ракушечного крошева. Ветер полоскал юбку у ног Матери. Где-то далеко-далеко переговаривались два человека. Кричали чайки.

– Иди сюда, Мики! – позвал Отец. – Мы хотим тебе что-то сообщить.

Мики остановился. Обруч его, описав обмирающий круг, упал на дорожку. Новенькие туфельки неуверенно захрустели по сырой гальке. Зародыш замер. Он догадывался, о чем сейчас заговорит Отец. Дыхание Мики, выжидающе неровное, послышалось совсем рядом. И еще было слышно, как ветер, бьющий ему в лоб, тлинькает шелковыми пружинками детских локонов.

– Мы подумали, Мики, что ты уже большой мальчик. Пока меня не было, ты научился пользоваться столовым ножом и шнуровать ботинки.

– Сплю один... – с робкой гордостью прибавил Мики.

– Ну вот! Я и говорю. Ты уже смог бы помогать нам и мадам Ларок, если бы у нас появился... малыш... Как ты на это смотришь?

– Я? Конечно! Я всегда хотел братика!

– Ну что ж! Прекрасно! – сказал Отец. – Будет тебе братик или сестричка.

– Я думаю – сестричка, – уточнила Мать.

– Тебя устроит сестричка?

– Сестричка? Это даже лучше! Девочки не толкаются. А когда это будет? – голосок Мики задрожал от нетерпения.

– Ну-у, дорогой... – пророкотал ласково Отец. – Этого еще немного подождать придется! Сначала я съезжу ненадолго в Россию. Потом мы поплывем все вместе на пароходе в Америку. А уж там...

– Так она в Америке... – слегка расстроился Мики. – А ее там никто не заберет до нас?

– Нет, нет, Мики! – успокоила Мать. – Она только наша. И она уже здесь. Просто ее еще нельзя увидеть: она слишком маленькая и спрятана у меня внутри – вот тут.

Зародыш привычно двинулся навстречу руке матери и ткнулся в нее лобиком.

Мики постоял какое-то время неподвижно, не то свыкаясь с новостью, не то принимая важное решение.

– Вот что, папа, – сказал он и протянул отцу свой обруч и палочку. – В субботу Николай Петрович подарил мне точно такой же обруч, только синий. Я не сказал тебе, чтобы ты не огорчался. А теперь видишь, как хорошо получилось:

синий будет мне, а твой – сестричке. Синий уже поцарапанный немножко, и красный вообще гораздо лучше. Так что я не буду его больше гонять.

– Ну вот и славно. Я его понесу. А теперь видишь вон того синьора, который играет на аккордеоне? Вот тебе деньги. Пойди и брось ему в шляпу.

Отец позвенел в кармане мелочью и ссыпал ее в ладошку Мики. Мики кивнул и заторопился на набережную к уличному певцу.

– Пусть успокоится, – сказал Отец. – Привыкнет.

– Да, – откликнулась Мать. – Он такой чуткий мальчик... Даже слишком. Как ты думаешь, это ничего?

– Ничего, – Отец провожал взглядом ладную фигурку удаляющегося Мики.

– Просто он все время с женщинами. Вот в Бостоне я займусь им. Он должен научиться ездить верхом, плавать. Ну и вообще... Он нежный, но довольно крепкий. Посмотри, какой: ножки длинные, стройные. Вот увидишь – он вырастет настоящим мужчиной.

– И очень красивым, правда?

Зародыш перевернулся на спинку.

Перед ним был Мики. Он сидел на лавочке в самом конце аллеи, в негустой тени июньских деревьев. Его длинные ноги, закинутые одна на другую, выступали далеко вперед на желтую кирпичную дорожку. Локоть правой руки лежал на спинке скамьи, и большая неширокая кисть свисала с какой-то красивой, непривычной свободой. Густые светло-русые волосы, необычного серебристого оттенка, слегка вились. Они вызывали то же чувство, какое вызывает воздушная крона весеннего дерева. Такая прическа была бы к лицу какому-нибудь красавцу-киноактеру – как и улыбка, чуть раздвоенная застенчивым уголком верхней губы. Его зеленоватые, чуть раскосые глаза смотрели прямо на Дору. Этот взгляд... Нет, не узнающий! Он как бы с первой секунды узнал сестру. Он будто и не ожидал ничего иного и был счастлив видеть Дору, и становился все счастливее по мере ее приближения. А Дора шла, запинаясь, и сторожиха легонько подталкивала ее в спину, поправляла платье, стряхивала с черных волос застрявшие сучки и соринки. И две девочки, с которыми Дора никогда не дружила, семенили рядом и зудели: "Ищи тут ее, ищи... Бегай за ней два часа..."

Дору действительно долго искали. Она слышала, как ее зовут, но не откликалась, потому что сидела на дереве и ела зеленые завязи груш. Она слегка побаивалась дизентерии, но утренняя каша была уж очень жидкая, и Дора проглотила ее слишком быстро... Возможно, и это сыграло какую-то роль в ее отношении к Мики. Слова "к тебе пришли" мгновенно вызвали в памяти Доры двух тетенок и принесенный ими кулек черешни. Пустые руки незнакомца разочаровали ее. А тут еще этот уверенный взгляд, белоснежная рубашка с подвернутыми до локтя рукавами. Почему-то Дору удивило, что у горбуна подвернуты рукава рубашки. И еще прическа... У всех горбунов, которых доводилось видеть Доре, были черные, гладко зачесанные жидкие пряди. И смотрели они так, будто постоянно помнили о своем горбе. А этот сидел, как ни в чем не бывало – будто не нависал над его глазами костлявый лоб, будто не портил его лицо хрящеватый нос, будто весь он не был похож на большую длинноногую

птицу, у которой туловище выпирает спереди и сзади, а голова лежит прямо на плечах.

Бедный Мики! Да ни на минуту не забывал он о своем уродстве! Ангелочек, сорвавшийся с фрески Санта-Тринита, выпавший по жестокой случайности из красивого дня в Италии и вечно пребывающий там. Это оттуда он черпал представления о жизни, свои деликатные и раскованные ужимки и позы, которыми так восхищался Бронек. А Дора ничего этого не понимала и злилась, уверенная, что Бронек старается ради нее, показывает, что не брезгует ее братом.

Как стыдно было Зародышу, как стыдно! Хотя он и понимал, что, в сущности, Дора была для Мики неплохой сестрой – в дальнейшем, разумеется. Можно ли было ожидать, что она вот так сразу примет и полюбит чужого странного человека, который вместо того, чтобы дать ей время привыкнуть и привязаться, смотрит на нее с конца аллеи жадным узнающим взглядом и в первую же минуту, оставшись с ней наедине, сообщает: "Я твой брат"...

Возможно, если бы Доре стало известно, что где-то у нее есть брат-горбун – да что там! какой-нибудь совершенный урод! – Дора непременно начала бы искать его. И была бы счастлива встретиться с ним вот таким, какой он есть. Но все получилось... Так, как получилось.

Конечно, Мики поторопился. Он, с его чуткостью, мог бы все это предвидеть. Но и его можно понять: ведь Мики-то всегда знал о том, что она есть. Он любил ее заранее, хотя, умудренный годами болезни и неподвижности, знал, что она окажется совсем не такой, какой рисовалась в его мечтах.

Для Доры же все вышло иначе: брат свалился с неба, без предупреждения, и любить его было обязательно, а следовательно – трудно.

– Садись, я не заразный, – сказал Мики.

Она пожала плечами, как бы говоря: "Вот еще!" – и села, хорошенькая, недоверчивая, легкая от отсутствия воспоминаний, с бровями и глазами матери, с гримаской подавленной брезгливости, потупленная. И он уже ничего не помнил из того, что воображал себе, когда глядел в потолок, изо дня в день, привязанный бинтами к гипсовому панцирю, и тайком старался хоть чуть-чуть вывернуться на бок. Мечтал, как он вылупится когда-нибудь из этой ненавистной скорлупы, высокий и ровный, и отправится искать роддом, куда возил когда-то матери передачи и где, конечно же, сохранились все бумаги... А найденная сестра, узнав, кто он такой, тут же бросится навстречу ему – и всем его воспоминаниям, всему, что принадлежит им обоим.

– Ведь тебя зовут Дора? Дора Эльберт?

Она удивленно моргнула.

– И что это тебе пришло в голову сочинять себе разные фамилии?

– Так... – пожала она плечами, не поднимая глаз. – В книжке прочла...

– Да я уже догадался, – рассмеялся он. – Я два месяца ищу тебя по детдомам.

А до того несколько лет посылал письма, и мне отвечали, что ты нигде не числишься. Я долго болел, – пояснил он между прочим. – Лечился в туберкулезных санаториях – в Крыму и здесь, недалеко, в Пуще. Мне везде

отвечали, что такой нет. Я решил уже, что тебя отправили в другой город. А потом подумал, что где-то могли перевернуть фамилию, снова стал ходить. Проверял всех девочек семнадцатого года по имени Дора. И вдруг в четвертом детдоме я нашел в списках “Дору Копперфилд” – и сразу сообразил, что это ты, что ты себе фамилии из книжек берешь. А нынешняя твоя – откуда? Из “Овода”? – Дора кивнула. – Ты, я вижу, начитанная девочка...

Дора хихикнула. Она знала, что должна, наконец, заговорить, но все ее внимание занимала почему-то лежащая на коленях у брата черная кожаная планшетка. Он то расстегивал, то застегивал ее длинными разумными пальцами.

– А почему ты записалась именно итальянкой? Просто так или...

– Просто так.

– А знаешь, – сказал он, – ведь мы почти до самого твоего рождения жили в Италии. Мама была певицей.

– Знаменитой? – оживилась Дора.

– Не знаю. Мне казалось, что знаменитой. Я ведь был совсем маленький, мне еще и шести не исполнилось, когда умерли родители. – Он будто оправдывался перед Дорой. – Мама давала концерты и пела в опере. Она была такая красивая! – Мики всматривался в лицо Доры, будто отыскивая что-то. – Вот, взгляни. – И он наконец раскрыл свою планшетку.

Черная плоская глубина поманила Дору. Но там оказалась лишь большая записная книжка в кожаном переплете с серебряной чайкой в уголке. Мики вытащил ее, полистал. Осторожно извлек оттуда согнутую вдвое картонку, в которой лежало несколько лавровых листиков. Секунду подумал и вернул их на место. Снова пролистнул страницы и достал фотографию.

То была фотография Матери.

Зародыш так часто погружался в это мгновение, так напряженно всматривался в кремово-коричневое изображение, дышащее новизной и свежестью, что знал до малейших подробностей нежный овал лица, безмятежную улыбку, задумчиво отогнувшийся мизинец ручки, подпирающей острый подбородок, белую розу на шляпке, полосочки и воздушные рюши блузы. Но образ этот, несмотря на все старания, никак не совмещался с его ощущениями, с радостной поступью Матери, со звоном ее голоса, бьющегося где-то высоко и счастливо, с оживленным шуршанием ее платья и едва уловимым лепетом оборок и невесомой дымки, которую морской ветер перекладывал на ее груди так и эдак, – а, главное, не совмещался с той чудесной мелодией, которой никогда не было в жизни Доры.

Доре фотография очень понравилась, но она никак не могла поверить в то, что эта прелестная женщина – ее мать. Такая молоденькая! В старинных одеждах, как из сказок о принцах и принцессах, живших в давние-давние времена.

– А... папина фотография?

– Нет. К сожалению. – У Мики снова был такой голос, будто ему стыдно, что он не может поделиться чем-то с Дорой. – У меня и мамина фотография оказалась случайно. Папа был очень красивый и очень-очень высокий. Я, кажется, больше и не встречал таких.

– Тоже артист?

– Да нет, не знаю, кем он был. Как-то, помню, мама сказала: “Ты ведь медик”, а он ответил: “Скорее химик”. Вполне возможно, я что-то неправильно

понял. Мы собирались куда-то переехать из Италии, это точно. А перед этим он выехал в Россию по каким-то делам... И отсюда пришла телеграмма... Я даже не знаю, что там было написано. Меня сразу увели к хозяйке. Я слышал, как разбилось какое-то стекло, слышал, как кричит мама, но делал вид, что ничего не понимаю...

Мики замолчал, задумался.

Ах, как хотелось Зародышу, чтобы Мики никогда не произносил этих слов! Порой он начинал метаться, как осужденный, которому неизвестен день казни. Чуть раньше, чуть позже – но весь этот ужас неизбежно должен был навалиться на него. Весь этот звон и крик ему предстояло услышать. Его не могли увести к хозяйке, как маленького Мики. Но хотя бы не знать заранее!

– Ну а потом что было? – вежливо спросила Дора.

– Потом мама начала собираться в дорогу. Она без конца повторяла: "Я приеду туда и там все выясню!" Хозяйка и гувернантка пытались ее отговорить. По-моему, она сошла с ума от горя. Она набила чемодан отцовскими вещами, а для меня не взяла ни пальто, ни теплой обуви. Мы очень долго сюда добирались. И в конце октября я ходил в бархатной курточке и белых туфельках.

– А где вы жили?

– У какой-то старухи. Такая странная была... Дом я нашел, но ее там уже нет. Умерла, наверно. Не знаю, кто она – родственница, квартирная хозяйка... Она продавала на рынке наши вещи и готовила еду. Так ужасно было, беспорядочно... Какие-то люди бегали, стреляли... Маму отвезли в роддом, и я носил туда передачи. В Италии, – улыбнулся Мики, – меня и за порог не выпускали без гувернантки. Пока мы добрались сюда, я стал совсем другим. Ничего уже не боялся. Раз прихожу в больницу. Ты уже дня три как родилась. И мне говорят, что мама заболела тифом, и ее увезли в инфекционное отделение. Знаешь, я тогда по-русски так себе говорил... и ведь добрался! Там мне сказали, что мама без сознания и передача не нужна... Ну, а на обратном пути, – он будто испытывал удовольствие, подходя к счастливому концу, – меня случайно вытолкнули из трамвая, и я сломал позвоночник. Это даже к лучшему вышло. Куда бы я делся... Война, власть несколько раз менялась... Эти белые туфельки, истоптанные, они уже малы на меня стали... А мама прожила еще два дня.

– Она меня видела? – спросила Дора.

– Наверное, – сказал он. – Сразу после родов. Она тебя так любила!

Он снова полистал свою записную книжку и вытащил оттуда закладку – шелковую нитку с жемчужной бусинкой.

– Это от маминого ожерелья.

Мики раздумчиво посмотрел на нитку, растянутую между двумя пальцами, и, улыбнувшись, положил на место.

– А фотографию оставь себе. Я все помню, а ты... Как только у меня появятся деньги, я закажу для себя копию.

Несколько раз фальшиво протрубил горн.

– Это на обед, – сказала Дора.

Он встал со скамейки и показался Доре по-новому страшным. Почти нормального роста, он будто весь состоял из двух длинных ног в белых наглаженных брюках. Дора старалась не смотреть ему вслед и все же краешком глаза видела, как он широко шагает по дорожке, как мелькает исчезающим светлым пятном за густой зеленой дымкой деревьев.

Уже подходя к столовой, Дора сообразила, что забыла спросить, как его зовут. И не сказала ему о том, что учится в балетной школе. Даже ей тогдашней показалось странным, что она совсем не рада его появлению. Что же до Зародыша, то его просто переворачивало от раздражения, от досады на Дору, а отчасти и на Мики, поспешившего отдать ей свою главную драгоценность.

Но заслуживала ли Дора такой неприязни? Ведь что, собственно, она приобрела в тот день? Странного брата с двумя горбами. С дурацкой планшеткой... Уже в столовой детдомовские хулиганы, которых Дора утром отчитывала на пионерском сборе, бегали вокруг нее, вытягивая руками рубашки на груди и спине и вжимая в плечи голову. А вокруг смеялись, и ясно было, что на объявившегося брата все успели тайком посмотреть.

~~И все равно было бы лучше, если бы он был другим.~~

Конечно, Дора понимала, что не выросла из земли, что были когда-то и отец, и мать. Она часто думала о них, пыталась себе их представить. И они менялись с годами – по ее желанию, по ее выбору. И при этом становились все реальнее. Отец – командир на гражданской войне, мать – бесстрашная боевая подруга... И вдруг – вдобавок к горбуну-брату, с барским видом сидящему на лавке, она получает буржуев-родителей, с горничной, гувернанткой, служанкой. С жемчужным ожерельем! Впрочем, как раз пропавшего ожерелья было почему-то жаль... А главное – появилась какая-то непонятная растерянность. Так мог бы чувствовать себя приемный ребенок, вдруг узнавший, что он в семье чужой, что были когда-то другие отец и мать, но давно умерли. Как жить ему теперь с этим знанием? А между тем прежнее привычное существование непоправимо осложнено и испорчено...

Выходило, что Дора больше не имеет права мечтать об отце-командире и героине-матери. Новые родители, внезапно обретенные, никак не заполняли образовавшейся пустоты. Что означало: "скорее химик, чем медик"? Аптекарь? Аптекарь в представлении Доры был персонажем просто комическим. А богатство, о котором можно было судить по рассказам брата, вызывало у Доры чувство стыда и гадливости. Такое же, как огромная записная книжка, засушенные листики, мелькнувшие между ее страницами. Может быть, единственным, что вызвало в ней живое чувство, была бусина на нитке, которую брат явно собирался ей отдать, но передумал в последнюю минуту. Она чувствовала себя обделенной, и фотография, доставшаяся ей, нисколько не избавляла от этого неприятного ощущения.

Глядя в тот день, Зародыш пытался смягчить свою досаду на Дору – и не мог, хотя все понимал. Обед оказался еще хуже, чем завтрак. Голод только начинался, детдомовские не успели к нему приспособиться. И вечером того же дня Дора выменяла фотографию матери на горбушку липкого серого хлеба, надкушенного в двух местах. Перед этим фотография успела постоять на подоконнике возле Дориной кровати, и Дора, осторожно подправляя рассказ брата подробностями по собственному вкусу, поведала подружкам, что мать ее,

оказывается, была знаменитой певицей и выступала во всех оперных театрах мира, заодно перевозя среди своих нарядов большевистскую газету "Искра", за что была схвачена царской охранкой и убита в тюрьме. Она говорила с обычным детдомовским пылом – и верили ее рассказам точно так же, как вчерашним рассказам об отце-командире. Фотография ничего не доказывала. Женщина на ней была слишком молоденькой, какой-то волшебной-милой. Эта роза во лбу... эти дымчатые рюши, колечки локонов, кусты олеандров за спинкой белого кресла, море с дальним пароходом и небо с накренившейся чайкой... Казалось, что это фея, нарисованная сто лет назад. К тому же на обороте фотографии были напечатаны такие же линеечки и цифирки, какие делались на почтовых открытках. И у каждой девочки в палате стояла на тумбочке своя безумноглазая красавица, о которой рассказывались такие же истории.

На следующее утро Дора не стала есть свой хлеб и понесла его в школу вместе с давно припрятанным кусочком рафинада. Нина, с которой она так глупо поменялась накануне, была старше на год. Дора нашла ее на первой же перемене. Нина стояла с другими девочками у высокого окна, распахнутого в сад, и, восторженно захлебываясь, рассказывала: "Она была певицей! А папа танцевал в балете! Меня тоже брали выступать, когда я была маленькая. Мы вообще-то по нации итальянцы, жили в Риме..."

Заметив Дору, она сунула фотографию за спину и даже слушать не захотела о хлебе и сахаре.

После обеда Дора снова подошла к ней, теперь уже с двумя кусками хлеба, и пообещала отдать еще и вечернюю пайку, но Нина заявила, что фотографию украли у нее из парты... А когда Дора кинулась за помощью к подружкам, все оказались против нее. Даже Галя, самая верная, самая справедливая, сказала, что Дора не имеет права приставать. Что когда она, Галя, выменяла фотографию своей мамы за слоника от брошки, а тот оказался поломанным, она не стала требовать фотографию назад...

– Так ведь то артистка была! Аэлига из кино! – нарушая основы детдомовского этикета, закричала Дора.

После этого случая Нина стала избегать ее. И не только Нина. Похоже было, что фотография ходит по рукам, и тому имелось косвенное подтверждение. Как раз в это время к ним в швейную мастерскую привезли несколько огромных рулонов марли. Девочки сшили себе нарядные платья с пышными юбками, причем оказалось вдруг, что все платья украшены рюшами вокруг шеи и пышными, до пояса, жабо... Дора тоже сшила себе такое платье.

За неделю Дора успокоилась. Ей стало казаться, что не было никакой фотографии, что не было и брата... И все-таки в воскресенье она наряжалась особенно тщательно. Ее марлевое платье хрустело от крахмала. Хрустел на затылке огромный бант. Дора боялась, как бы ветер не сломал его, и все касалась озабоченными кончиками пальцев. Свои черные волнистые волосы она причесала по-новому, так что воспитательница Марья Ивановна сказала: "Все девочки сегодня хорошенькие, а Дора – лучше всех". Еще бы, у нее у одной были белые носки – подарок аккомпаниаторши из балетной студии. И галоши у нее были совершенно новые, без единой царапинки! Недаром Дора берегла их всю зиму, почти не носила.

В то утро она как бы не думала о брате. А вместе с тем вся эта красота создавалась отчасти и для него. Дора знала, что ей будет неприятно, если он больше не придет. хотя так было бы проще: не хотелось рассказывать о потерянной фотографии. Но он явился в то же время, что и неделю назад, с той же планшеткой – почему-то она вызывала у Доры отвращение еще большее, чем его горб. Раздражали его хозяйственные движения, то, как он щелкает замком... Но со дна планшетки он вынул сверток, и это оказался кусок пирога из темной муки с редкими изюминками. Дора переломила его пополам, но не стала спорить, когда Мики отказался от своей половинки.

– Не надо, – улыбнулся он. – Знала бы ты, сколько всего этого было у меня в детстве!

Мики слегка откинулся назад и уставился в даль, не видимую Доре. Сидел, свесив эту свою руку – так, будто сидит не на проходной детдома номер семь, а в той самой Италии, которая была в его жизни точкой сравнения и отсчета.

Странно, но Зародышу, когда он вглядывался в свое Будущее, казалось, что Мики никогда и не уезжал из Италии. Легкий прищур его глаз, умиротворенная, благодарная задумчивость... Он как бы не просто сидел на лавке – он пребывал в щедро дарящем мире. И облупленная гипсовая ваза за его спиной казалась античной амфорой, а гнилые столбы у въезда – римской колоннадой.

Зародыш знал об Италии ровно столько, сколько впоследствии удосужилась узнать Дора. Не много. Но... Как он понимал Мики! Как старался хоть что-нибудь сохранить для Доры из этого чудесного дня! Втискивал, вколачивал в свою непонятно устроенную память плавное беззвучие теплого воздуха между двумя порывами ветра, молчание спокойного моря, его редкие неожиданные всплески, едва уловимое сопение мириад обсыхающих на солнце ракушек, лопотание крыльев двух бабочек, летающих рядом, изгиб и наклон берега, глубину парка, толщину и высоту стволов, хрипение дырявого аккордеона, старческий голос, широко и фальшиво длящий высокую ноту: "O sole mio, o sole mio". Удивленный и недоверчивый голос: "Где ты взял эти деньги, малыш?" – "Мне папа дал, синьор." – "Благослови тебя бог, малыш, твоего папу и твою маму." – "Спасибо, синьор. Вы знаете, синьор, у меня скоро родится сестричка." – "Правда? Вот хорошо, малыш! Ты, конечно, не будешь обижать ее?" – "Что вы, синьор, я буду ее очень любить! Я всегда буду защищать ее!" – "Конечно, малыш, дай бог тебе хорошую сестренку, такую, как ты сам".

Зародыш печально сморщился и помотал головкой. Ах, Мики, Мики! Так оно и было: любил всю жизнь, защищал. Всё-то он видел лишь какую-то собственную реальность, всё-то был сыт пирожными, съеденными в детстве! Он вел себя как счастливец, вечно виноватый перед обделенной Дорой. У него были пирожные, дом с портретами, родители, бонна, белый костюмчик, пять плюшевых медведей... И он полагал, что Дора, ничего этого не зная, должна страдать больше, чем он, утративший. У него то и дело вырывалось что-нибудь вроде: "Бедная ты моя!" Она! Самая красивая девочка в классе! Отличница в школе и в балетной студии! Председатель совета отряда! У нее платье! У нее галоши блестят ярче, чем любые лакировки! Такая независимая в своем сиротстве. А он все смотрит, все отыскивает в ее лице черты неведомых ей людей: раскосые глаза

матери, отцовскую трещинку на нижней губе – все, что хранил с пяти лет, лежа в гипсовом саркофаге, воскрешая и заучивая наизусть свое прошлое. Он, сохранивший под уголком матраца старую записную книжку, бусинку и фотографию матери – оправдывал Дору, себя винил в пропаже фотографии, винил свою торопливость – так что в конце концов и Дора поверила в его вину. Он только спрашивал с этой своей заботливой жалостью: "Ты хоть успела запомнить мамино лицо?" – "Да" – лгала Дора. – "Вот и прекрасно, – радовался он, вглядываясь в ее черные глаза, будто надеясь найти отпечаток фотографии в окружности зрачка. – Это главное! А я то что! Я маму прекрасно помню! Как она говорила, улыбалась, ходила... Как она шляпку на ветру придерживала. А эта фотография... Я знаю на ней каждую тень! каждую точку! Если бы можно было фотографировать прямо из человеческой памяти! Жаль, что я не умею рисовать! Так ты запомнила?" – "Да", – терпеливо повторяла Дора, видя, как ее попытки вспомнить делают фотографию матери все более нечеткой, и даже блузка ее понемногу превращается в марлевую, и вытягиваются ноги, которых на фотографии не было, а на ногах этих – белые носки и галоши. И ни разу он не обиделся ни на одну из ее выходок, на эту вечную ее спешку – то репетиция, то совет отряда, то уроки – только подхватывался виновато: "Да, да. У меня тоже срочные дела. Я тут засиделся, извини". Он понимал, чего стоят все эти небольшие хитрости и уловки девочки, привыкшей всегда говорить правду своим высоким, негнушимся голосом. Знал, как трудно ей преодолевать страх перед его болезнью, и терпеливо объяснял: "Это называется хубус, это не больно и не заразно..."

О том, что болезнь его незаразная, сообщил при первой же встрече. Имя свое назвать забыл, а это нет. Он потом бил себя тонкой кистью по лбу и смеялся: "Как же я, дурак, не подумал! Я-то всегда знал о том, что ты есть и что зовут тебя – Дора!"

Двенадцать лет лежал, постепенно и спокойно осозная, что чуда не будет, что гипсовая оболочка не спасает его, а изменяется вместе с ним, из года в год, повторяя форму все более уродливого тела. Лежал и ждал, когда – все равно уже какой! – встанет и отправится на поиски.

И обнаружит, что не очень-то он ей и нужен.

Впрочем... Надо сказать, что Дора ничего такого не думала. Она была уверена, что защищает брата, когда в своем марлевом платье гонялась за старшими мальчишками, изображавшими горбунов, била кулаками по плечам и царапучим затылкам. Это Зародыш видел многое по-другому и понимал, на кого она злится. Понимал, что не так уж ей необходимо присутствовать на репетиции первомайского концерта с самого начала, если ее номер – коронный – идет почти в конце. Понимал, почему именно в те дни, когда приходит Мики, у нее оказывается слишком много уроков.

Возможно, и Дора поняла бы это – если бы Мики хоть раз показал, что он обижен, что он мог бы и не придти, что и у него есть свои дела – куда более важные, чем у Доры. Но он всегда был на страже, всегда готов был защитить сестру от любой неловкости, от угрызений совести.

В сознании Зародыша не укладывалось, что между этим днем – днем, когда Мики узнал, что у него скоро родится сестричка, – и тем, когда он впервые увидел ее, прошло всего тринадцать лет. Казалось, между ними лежит провал в целый

век. Целый век – между черными галошами Доры и лайковыми ботиночками ее матери. И напрасно Мики пытался приблизить их друг к другу. Дора была сломанной веточкой, воткнутой в землю и пустившей в нее свои прямые крепкие корешки. Так сказал о ней однажды Бронек, в один из дней, когда они ездили втроем на остров.

Но Мики не видел этого. Сам-то он в одинаковой степени принадлежал и ушедшему, и наступившему времени, не чувствовал никакого провала. Ему казалась совершенно естественной вся эта цепь событий и превращений. Он не восхищался переродившимся миром, но прекрасно ориентировался в нем. Его практичность порой даже раздражала Дору. Спокойные рассуждения о ремесленном училище, которое он тогда как раз заканчивал. О необходимости продолжать образование. "При моем здоровье нельзя будет долго работать физически. К точным наукам я не способен. Я хотел бы преподавать в школе, но... Горбатый учитель – это нехорошо..." И морщился, будто речь шла не о нем, а о каком-то общем принципе. "Медицина... Есть, конечно, такое предубеждение, что из больных людей получают особо внимательные, знающие врачи... Но боюсь, что это не распространяется на горбатых... Итак, остаются только юриспруденция, нотариат..."

Он знал, что сестре неинтересны все эти мудреные выкладки, а упоминания о горбе просто неприятны, но продолжал надеяться, что таким образом приучит Дору не смущаться, не краснеть так тяжело, едва лишь речь заходит о его болезни. Тщетно. Даже в старости, в аэропорту, когда таможенники стали небрежно осматривать содержимое его сумки и карманов, она ощущала тот же угрюмый прилив крови к щекам, те же стыд и раздражение. Так же краснела она в детдоме, когда по воскресеньям он появлялся на центральной аллее со своей планшеткой... В театре, когда в паузах, скользя взглядом вдоль передних рядов, замечала острое, бледное лицо, очарованно уставленное на нее, будто она главная, будто она единственная...

Конечно, она боролась с собой, конечно, старалась не подавать вида. Терпела комплименты подружек по труппе, считая их лицемерными. "Сразу видно, что твой брат очень умный!" Или еще хуже: "Твой брат такой симпатичный!" И восторги Броника: "Ну что это за человек такой! Какая во всем порода!"

Впрочем, нет, с Броником было по-другому. Она очень быстро поняла, что он восхищается Мики вовсе не в угоду ей. Поняла – и смутилась. Она была готова уделить брату кусочек от своего огромного счастья, но выходило, что достается ему гораздо больше, чем она собиралась дать! Слишком велика оказалась роль Мики во всех этих бесконечных разговорах над стаканом коричневого чая в длинной полутемной комнате Броника. Или под вербами на острове, куда они выезжали по выходным с едой, с одеялами, а позднее – и с маленькой Лизонькой на руках.

Ах, какие это были счастливые воскресенья! Похожие друг на друга, как листья на ветке, как бусинки в ожерелье.

Бронек будил ее на рассвете. Она поднималась с трудом, хмурая собиралась, хмурая ехала в трамвае. И лишь оказавшись у желтенькой лестницы, круто

спускающейся к пристани, оживала. Уже на первой деревянной площадочке начинала радоваться, что все-таки проснулась рано. Спускаясь вниз, все больше возбуждалась от запаха реки и гладко расчесанных прибрежных водорослей, от бряцания металлических цепей, от буханья воды между дебаркадером и катером.

Мики всегда ждал их внизу, в самом начале очереди. Плыли они недолго, на давно облюбованный островок, а потом шли вдоль воды по жирному, уползающему из-под босых ног песку – подальше, куда ленились заходить другие пляжники. Сворачивали, брали немного вверх, где за густыми зарослями невысоких верб начинался широкий луг. Там, под деревьями, набрасывали на траву одеяло и падали с наслаждением в прохладную тень. Мики не раздевался, только расстегивал рубаху, удобно откидывался на раздвоенный ствол дерева. Блаженно шурясь, водил глазами вдоль горизонта, и Дора, может быть, не осознавая этого, смотрела на него победоносно. "Ну как? Неужели это не лучше, чем твоя Италия?" И он, тоже взглядом, как бы отвечал ей: "Да, тут прекрасно, прекрасно! Но Италия..." Дора снисходительно усмехалась.

Так весело, так жадно хотелось есть! Дора резала овощи, чистила яйца, разливала по бумажным стаканчикам лимонад... Газовые шарики кололи небо. На зубах поскрипывал песок.

Любая, самая простая еда так навсегда и осталась для Доры праздником. Готовила она как попало, не изощрялась, и ее смешило, когда Мики, запрокинув кверху свой острый подбородок и шурясь на голубые бреши среди негустой листвы, разглагольствовал об итальянских пирожных, и казалось, что они плывут над ним по небу вместо облаков. А Бронек слушал внимательно и отзывчиво, будто Мики читал стихи.

Случалось, расходился и сам Бронек, начинал рассказывать о том, как его мать готовила жаркое – то в томате, то с черносливом. Как, возвращаясь из школы, он за полквартиры различал среди других запахов запах ее стряпни.

Чуткий Мики, видя Дорино безразличие к этим блужданиям по утраченному прошлому, начинал оправдываться за нее перед Бронекком. "Ты понимаешь... Она ведь росла без семьи, без своего дома! Я помню, в детстве для меня даже переезд на новое место был травмой. Только привыкнешь, привяжешься – снова собираем вещи. А у нее ведь и собственных вещей не было!" И они обращали на Дору свои такие разные глаза и смотрели с совершенно одинаковой нежной жалостью. Будто Дора больная или увечная...

Нет, она не обижалась. Разве что где-то внутри шевельнется смешливая досада. Особенно на Мики. Уж кому бы так смотреть на тоненькую, крепко сколоченную Дору! С ее пышными волнистыми волосами, золотистым загаром, длинными, чуть раскосыми глазами, похожими на два листика. Они жалели ее! Мики, понапрасну пролежавший полжизни в гипсе со своими жалкими драгоценностями, спрятанными под матрац... Да ведь это было чудо – то, что он нашел Дору! И чем бы он жил, не свершись это чудо?

А Бронек? Разве не бросил он свою семью со скандалом, с юной жестокостью – ради искусства, ради своих убеждений? Разве не висели у него за спиной тяжким горбом сомнения, угрызения совести? Дора видела один надрыв в этих его воспоминаниях, в бесконечных письмах, которые он с любой оказией отправлял в Польшу.

На письма никто не отвечал, и для Доры так было даже спокойнее: ей не хотелось делить Бронька с какими-то неведомыми родственниками. Они не вызывали в ней ни особого тепла, ни особого любопытства. Иногда Дора пыталась представить себе его родителей, его смешную старенькую бабушку, его дом – что-то такое... чопорное, золотисто-коричневое, где Бронек однажды раскружился в блистательном шенэ, широко раскинув свои стремительные руки, и понесся волчком прочь – в Париж, в Берлин, в Лейпциг, в Ригу – и прямо к ней, к Доре, из-за угла, по темному коридору – споткнулся и застыл... с этими руками, будто готовыми для объятия, чуть запыхавшийся, чуть смущенный...

Дора увидела его всего сразу. Он ни на кого не был похож. Как-то по-нездешнему собранный, серьезный... Почти мрачный. Точнее, так: у него было лицо мрачного человека, который, открыв дверь, внезапно обнаружил, что на улице теплая солнечная погода. Станным было все: его кожаная курточка со стоячим воротником и множеством пряжек и ремешков, стальная челка, прикрывающая лоб, которая не только не старила лицо, но прибавляла ему что-то мальчишечье... Дора никогда не встречала таких пристально-светлых глаз. Припухшие подбровья скрывали веки, и от этого казалось, что глаза не моргают.

– Вам куда? – спросил он с легким, очень милым акцентом.

– К Марии Анатольевне.

Он вежливо указал рукой направление. Она благодарно закивала, хотя прекрасно знала, куда ей идти.

У Марии Анатольевны Дора посидела недолго: все беспокоила нелепая мысль, что он еще стоит за дверью с этими своими раскинутыми руками. Наскоро рассказала о том, что жаль было бросать работу в Чугуеве. "Там есть такие девочки – прелесть! Если бы их сюда, к вам! Я, конечно, пыталась работать с ними по вашей системе, не спешила ставить на пуанты... Но эта ужасная директриса... Она во все вмешивалась! Если бы не она, я бы осталась. А так – пошла в обком комсомола и сказала: "Хватит! Я и так отработала два года вместо одного, а теперь хочу перевестись на дневное отделение!" – "Конечно! – подхватила Мария Анатольевна. – Ты способная, ты должна получить полноценное образование! К тому же у тебя брат – больной человек, ты обязана быть рядом. Кстати, как он?" – "Ничего. Закончил институт. Работает юристом в какой-то важной организации." – "Очень, очень милый человек! Ты ему кланяйся".

Дора вышла из кабинета и изумилась: в коридоре никого не было. Правда, когда она зашла к девочкам, там сразу заговорили о нем. "Жаль, что ты ушла! У нас сейчас так интересно! Приняли нового балетмейстера! Он родом из Польши. Такой талантливый, необычный! Совсем молодой – и уже поседел. Это когда он бежал от фашистов. Он будет ставить "Жизель". А где твой брат? Он совсем перестал ходить в театр. Передай ему привет, скажи, что мы скучаем, что откидной стульчик его ждет!"

Она вышла от девочек, закрыла спиной дверь и замерла. Он снова стоял перед ней – разве что руки не раскинуты. Дора и не видела рук, видела только серые глаза и небрежную россыпь волос, падающих на лоб.

Зародыш так любил этот день – самый странный и, наверное, самый красивый в жизни Доры! К нему все сходилось, от него все разбегалось лучами, как от серединки цветка: цепь невысказанных ощущений и поступков, смена восхитительных картин...

Ах, если бы можно было показать все это Матери! Зародыш напрягался, мучительно и вдохновенно, пытаясь пробиться к ее воображению, вмешаться в ее сны. Но то ли это было невозможно, то ли для Матери настолько обычен был вид пустого темного театра, закулисной мишуры, всех этих фанерных замков и фанерных лебедей, что она все равно приняла бы свои видения за смутное воспоминание об одном из тех театров, где ей доводилось выступать.

Пожалуй что наряд Доры должен был привлечь ее внимание. Такого она, разумеется, не видела нигде – да просто не поверила бы, что девушка может ходить по улице в трикотажной футболочке, белой с синим, и в юбке, едва прикрывающей колени.

Но главное было даже не в юбке. В чем-то другом. Весь облик Доры... Это был облик другого мира, другого времени – чуждый и неприемлемый для Зародыша, который ощущал себя принадлежащим к изящному, утонченному веку своих родителей – пусть и знал он его большей частью по звукам. Нежное и густое шуршание складок, оборок и кружев дорогого белья, шелковистый скрип корсета, все эти шорохи, вздохи, полыхания, скольжения, присвисты хорошо сшитых платьев, тонко звенящих и постукивающих своими пуговками, крючками, украшениями, – говорили Зародышу куда больше, чем фотография, которую он прекрасно знал и всегда мог увидеть. В саду, на растопыренной Дориной ручке. На подоконнике – прислоненную к стакану...

Зародышу было так забавно наблюдать за Дориным восприятием! И в тринадцать, и в восемьдесят лет ей казалось, что это глубокая древность – годы, на которые пришлось недолгая жизнь ее отца и матери. Впрочем, чему тут удивляться, если и Зародыш, который знал куда больше, ощущал почти то же самое. Ему приходилось делать над собой усилие, чтобы принять простую данность: вовсе не сто лет разделяло двух женщин. Ту, что шла по набережной, придерживая нежной ручкой шляпку, с которой морской ветер норовил сдуть газовую пенку – и ту, которая широко ступала по другой набережной, не итальянской, но тоже очень красивой.

Дорога поднималась круто вверх. Зародыша устраивало то, что решили не брать извозчика: тряска в экипаже была одним из самых неприятных для него ощущений. Конечно, ходьба по плохо вымощенным тротуарам тоже не доставляла радости, но Зародыш знал, что скоро они свернут налево, на широкую ровную улицу. Он хорошо ориентировался. В этих местах ему был знаком и приятен голос каждого квартала. Зародыш с удовольствием слушал, как воздух стремится спокойно стечь вниз, к морю, как сырой встречный ветер лениво разворачивает его назад, рассовывает по тесным сонным дворам. Каждый дом по-приятельски здоровался с ним дыханием распахнувшейся двери или открытого окна.

Впрочем, и в незнакомых местах он не чувствовал себя затерявшимся. Уже по разноголосым сквознякам на перекрестке мгновенно определял длину и ширину квартала, высоту и массивность окружающих зданий. Достаточно было легчайшему ветерку скользнуть вдоль стены – и Зародыш уже знал все о ее форме и фактуре, как если бы прошелся по ней рукой. Тут срабатывало еще нечто, кроме слуха... Все окружающее как бы касалось его издали, чуть-чуть давило. Может быть, поэтому он предпочитал просторные, широко открытые небу улицы. И недолюбливал подъезды и арки, сжимался в комок, ощущая неустойчивость, неуравновешенность нависающих глыб. Или это страх Матери передавался ему?

Конечно, он очень зависел от настроения Матери, от малейших его перепадов. Вот и сейчас, у поворота на площадь, Мать лишь чуть замедлила шаг – а Зародыш уже понял, что она увидела кого-то, с кем не хотела бы встречаться. Это были двое мужчин и молодая женщина. Их шумная радость показалась Зародышу вполне искренней.

Дальше пошли вместе. Дама держала Мать под руку и весело рассказывала ей о какой-то своей неудаче. Один из мужчин приставал к Мики с глупыми расспросами взрослого, не знающего, о чем говорить с ребенком. "Так что же, Мики, это правда, что у тебя скоро будет братик?" – "Сестричка", – уточнил Мики, не уверенный, что это следует обсуждать с посторонним человеком. Но, помолчав, не выдержал и добавил: "Вот. Мы ей обруч уже купили" – "Отличный обруч! – искренне растрогался мужчина. – Я уверен, что ей понравится!" – "Красный – самый красивый! – оживился Мики. – Она будет спать в моей кровати. Там пока медведи спят. А я сплю на большой кровати без сетки" – "Ну вот и прекрасно!" Тут мужчина оказался рядом с Матерью и сказал: "У вас просто эльф, а не ребенок! Я надеюсь как-нибудь написать его портрет. Вот так, как он сейчас стоит: на солнце, в кремовой матросочке. На фоне старого дома. Эти глазки в легкой тени..." – "Для такой картины, – перебила его дама, – нужен хотя бы Эдуард Манэ! А ты изуродуешь его своими углами и загогулинами!" Мужчина расхохотался, очень довольный. Чуть позади гудел мягкий голос Отца. "Нет-нет! Мне неудобно вам отказывать... любое одолжение, но не это... Вы же знаете, как я далек от политики! И от всего такого вообще..." – "Мне больше не к кому обратиться, – настаивал другой, тоже низкий голос. – Это совершенно безопасно! Буквально несколько листков... Никто и не взглянет на них! Выручайте, Яков Михалыч! Вам совершенно нечего бояться!"

Зародыш весь напрягся и дернулся – да так неловко, что Мать весело ойкнула. Как он досадовал на себя за то, что пропустил начало разговора! Не эта ли навязчивая просьба стала причиной краха их семьи? Но разобраться было уже невозможно. Да и зачем, раз все равно ничего нельзя исправить? Какая, собственно, разница, что именно погубило отца: опасная бумажка или сердечный приступ в дороге?

И все-таки... И все-таки Зародыш испытал некоторое облегчение, услышав твердый ответ: "Ничего я не боюсь, но это против всех моих принципов!"

Наконец-то они распрощались. Казалось, что на улице стало тише и покойнее, чем до этой встречи.

– Давай зайдем к синьору Виани. Уже должны быть готовы фотографии.

– Подождите здесь, я сам зайду...

Хлопнула старая, плохо пригнанная дверь. Мики подтянулся поближе к Матери. В отсутствие Отца он чувствовал себя обязанным оберегать ее от всех возможных неприятностей.

– Знаешь, что я еще придумал... – начал Мики. – То ожерелье... Помнишь, оно на балконе порвалось и потом стало коротеньким... Может, оно будет в пору сестричке?

– Пожалуй.

Звонкий и легкий голос вилял высоко над ними, отдельный, как птичка.

– Я дам тебе свою шкатулку, ты выберешь оттуда все бусинки, а мадам Ларок их нанизает на новую нитку.

– Я сам нанизую, – предложил Мики. – Как раз сегодня вечером, пока вы будете в гостях, я смогу этим заняться. Мадам Ларок вденет мне нитку в иголку.

– Ну вот видишь, как хорошо. И тебе не будет скучно.

Дверь снова проскрипела.

– Очень удачные снимки! – сказал Отец. – Я заказал таких еще четыре.

– Действительно! Хорошо получилось, – отозвалась Мать. – Надо будет послать такие Фанечке и Шуре.

– Мне тоже нужна такая, – попросил Мики. – Мне тоже подари одну.

– Зачем? – удивилась Мать. – Они у нас общие, как и все остальное. Разве нет?

– Да, конечно, – согласился Мики. – Но я хочу, чтобы одна была только моя.

– Ладно, – сказала Мать удивленно. – Пусть вот эта будет твоя. Только до дома я отнесу ее в сумочке.

– Нет-нет, мама, я сам ее понесу!

– Тогда вот что, – предложил Отец. – Я тоже сделаю тебе подарок.

Он вытащил из кармана совсем новый дорогой блокнот в кожаном переплете с серебряной чайкой, врезанной в верхний угол.

– Положи сюда фотографию, и она у тебя не помнется. А потом сможешь записывать сюда разные вещи.

– Ну что это сегодня за день такой... – воскликнул дрогнувшим голосом Мики. – Счастливый...

Нет! Все-таки не было в Дориной жизни такого дня! Даже в те ее самые лучшие три года, с Бронекком. Не хватало в их любви светлого благоговения, которым был так полон весенний день в Италии. И не этого ли с тайной грустью искал и не находил в их отношениях Мики? Легкая тень разочарования мелькала порой в его взгляде, когда Бронек небрежно обнимал Дору за плечи. Или говорил что-нибудь такое... вроде: "Ты у нас, Дорка, правильная! Как сталинская конституция!" Или еще хуже: "Нет, Миша! Ну какая же Дорка балерина!"

Тут уж Мики начинал горячиться и спорить. "Да ведь ты не видел ее на сцене, Бронек! Ни разу не видел, как она танцует! Если бы комсомол не направил ее в этот дурацкий Чугуев, она уже была бы солисткой! Ты посмотри: кто больше подходит на роль Жизели – она или твоя Соколова?!" "Еще и Жизель! – хохотал Бронек. – Зачем мне видеть, как она танцует? Я вижу, как она огурец режет! как она сарафан снимает! Она у нас прелесть, красотка, но у нее нет мелодии внутри."

Понимаешь, Миша, она звенит, как жестяное ведро! Она педагог, Миша, начальник, директор! А ты говоришь – Жизель!"

Мики смотрел на сестру испуганно, будто боялся, что она обидится на Бронька. А Дора и не думала обижаться. Ну, не нравилась она ему как балерина... Так ведь о себе он говорил и того хуже! И ноги у него не такие, и руки не такие, и голова слишком большая... А Дора смотрела на него и ничего этого не видела. Напротив, она находила, что все в нем необыкновенно складно и обаятельно, и совершенно не понимала, почему он ушел со сцены.

Привычка Бронька рассуждать о себе как о человеке постороннем – насмешливо, почти язвительно – нравилась Доре, и она эту привычку быстро переняла. Могла с удовольствием заявить, не щадя возвышенных чувств Мики, что-нибудь вроде: "Ой! Я ходила в балетную студию только потому, что там давали дополнительный паек!"

Кстати, о том, что она бросила балет, Дора действительно не жалела. Да, она любила музыку, праздничное сияние спектаклей, но не скучала по театру, по тягомотине репетиций – тем более по ежедневной изнурительной работе у станка. "Дора, тяни подъем! Дора, прямее спину! Дора, выше подбородок!..." Было ясно, что представляй она для театра существенную ценность, ее не отпустили бы так просто, отстояли бы. Самолюбие ее тоже не было уязвлено: стать в ее возрасте директором детского дома, пусть и небольшого... Такое случалось нечасто. Здесь она чувствовала себя уверенно и на месте. А главное – как бы ни подтрунивал над нею Бронек, Дора знала, что он всегда любит ее. Хотя и было в его странном взгляде столько всего намешано! И восхищение, и жалость, и удивление иностранца – все-таки иностранца, все-таки немножко чужака!

Кстати, Мики пугался еще больше, когда Дора начинала посмеиваться над Броньком. Ее смешила растерянность, в которую порой повергали Бронька самые обычные житейские обстоятельства. Вообще-то привыкший к советскому быту, он мог вдруг придти в негодование от какого-нибудь крючка, сорванного с двери уличной уборной, или от картонной подошвы, протершейся за один вечер. При этом у него появлялся акцент, и голос, вообще-то низкий, к концу каждого предложения доходил до фальцета, взвивался каким-то забавным вензельком. Дора называла это "гордые польские крендели"... Иногда она выражалась и посильнее. Бронек неизменно хохотал, а Мики искоса поглядывал на него, пытаясь понять, насколько искренен этот смех.

Бедный, бедный Мики, готовый чем угодно пожертвовать ради нее и Бронька! Но только не их обществом.

Нет-нет, ни разу Дора не подумала, что Мики стесняет их! И вряд ли замечала в себе приятное чувство свободы, которое возникало, когда они с Броньком уходили к реке вдвоем. Или позднее, втроем, с Лизочкой.

Мики в воду никогда не заходил. Даже не спускался на пляж. Он оставался "сторожить вещи". Сидел, откинувшись на свою раздвоенную вербу, блаженно уставясь взглядом в прошлое. Дора не спешила возвращаться. Да и Бронек, пожалуй. Купались... Обсыхали прямо на песке, снова шли в воду... И только Лизонька, если была с ними, тащила назад, к Мики. Издали бросалась к нему, прикивала, мокренькая, к неприятной птичьей груди. С самого рождения

Лизоньки Дора готовилась прививать ей любовь к уроду-дяде, но это не понадобилось. Вид Мики был привычен ей и ничуть не смущал. Даже наоборот: когда посторонние люди от нечего делать спрашивали хорошенького ребенка: "Кого ты больше любишь: маму или папу?", Лизонька отвечала: "Мишу". И тут же обнимала его, бережно и как-то очень складно.

Доре было известно, что Мики не заразен, но что-то внутри ее опасно напрягалось. Она бросала тайный вопросительный взгляд на Броньку, хотя знала, что тот ответит ей демонстративным спокойствием. И поскольку ничего тут нельзя было изменить, раздражалась на ребенка. "Видишь, что ты наделала? Теперь у Миши мокрая рубашка! И будет пятно!" А Мики смотрел виновато... Он-то все понимал и не осуждал ее. Как, впрочем, и в тех случаях, когда она бывала с ним действительно бестактной.

Взять хоть эти ее насмешки по поводу блокнота. Зародыш понимал, что Дора не шутила бы так, если бы Микки объяснил, откуда у него блокнот. И все-таки просто корчился от всех этих неуклюжих острот... "Что вы! Этот блокнот не для адресов! Миша носит его для солидности..." "Это Мишина мебель!" "Вам нужны лавровые листья? Попросите у Миши, у него всегда с собой..." Мики смеялся, очень добродушно, как бы нарочно показывая Броньку, что тот чего-то здесь просто недопонимает.

Но что понимал сам Мики? Будь он о себе более высокого мнения, он догадался бы, что дело тут в элементарной ревности. Да, Дора ревновала, когда видела, как Бронек смотрит, сощурился, на Мики, сидящего под деревом в одной из своих странных поз, с улыбкой, обращенной к невидимым горизонтам, к вечной своей Италии, воздух которой он вдохнул когда-то так глубоко, что уже не смог, не захотел выдохнуть, оставил навсегда в своем птичьем горбу, так что хватило на всю жизнь.

"Нет, ты только посмотри на него, Дорка! Откуда столько красоты в каждом движении?" – говорил Бронек с азартным восхищением, глядя, как Мики несколькими четкими рывками поднимается с земли, или как ловко взбирается по осыпающемуся склону реки, пронизанному темными волокнами корней, как широко ступает по солнечному лугу, весь в белом, похожий на аиста, ломко нагибается за цветком и протягивает его преданно семящему рядом ребенку.

Никогда Бронек не смотрел так на Дору.

Господи, как она любила его глаза! Светло-серые, с веками, всегда припухшими, как бывает у человека после долгого сна, и при этом лишённые малейшего налета сонной мути.

Как бы рано ни проснулась Дора, она всегда обнаруживала, что муж лежит, уставясь в потолок, будто созерцает там движущиеся картины.

Собственно, эти картины преследовали его везде и постоянно. Случалось, Дора невольно оборачивалась туда, куда смотрел Бронек, и удивлялась, ничего там не обнаружив. При этом ей казалось, что, в отличие от нее, Мики способен проникать в фантазии Броньки. Может быть, потому, что лицо у Мики становилось такое же, какое она различала когда-то в темноте зрительного зала.

Конечно, ее не могло не задевать и то, что Бронек обсуждает свои замыслы не с нею, пусть даже очень посредственной балериной, а с Мики, который не имел к балету вовсе никакого отношения. Если, разумеется, не считать балетом эти

ужасные санаторские танцы. С некоторых пор они стали вызывать у Броньки напряженное любопытство.

Бронек буквально вытягивал из Мики все новые и новые подробности. А Дору почти выворачивало, когда она представляла себе концерты в залах, заставленных кроватями. Закованные в гипс дети, читающие стихи, поющие хором и поодиночке – это еще ничего... Но балет... Можно ли вообразить себе что-то безумнее? Танцы под баян одними руками... Как будто из чего-то мертвого вылезло и закачалось, задергалось что-то живое...

Между тем Мики уверял, что зрелище было просто захватывающее. Одна из воспитательниц собиралась даже поставить целиком "Лебединое озеро"... Затея сорвалась только потому, что у "Одетты" началось осложнение, и ее перевели в больницу.

Мики вспоминал о санаторском "балете" как бы слегка посмеиваясь, но при этом всегда восхищался руками той девочки: "Никогда больше не видел рук таких красивых и выразительных! Действительно, лебеди! Настоящих два лебедя!"

Бронек внимательно слушал. Он лежал, вытянувшись на спине, в тени вербы. Рядом, под хрусткой, заглаженной квадратами простынкой, засыпала Лизонька. С веток падали редкие чистые капли. Лизонька вздрагивала и говорила: "Дождик!"

Пока она спала, все лежали, замерев в случайных позах, будто кем-то оброненные на краю огромного зеленого луга, и тишина стояла такая необыкновенная, что казалось – ее исполняет оркестр.

Потом что-то начинало постепенно меняться. То ли в воздухе, то ли в самой Доре. Она срывала длинную травинку и издали касалась ею тела Броньки, забавляясь тем, как он досадливо смахивает несуществующую муху.

Весь он был такой стройный, ладный. Ветер лениво перебирал темно-серебряную россыпь его волос. Эта ранняя седина так нравилась Доре, так волновала ее! Хотя она уже знала, что переезд Броньки в Россию произошел без всякой романтики. А поседел он неизвестно от чего в четырнадцать лет.

Ужасно хотелось подойти к нему, прижаться, приласкать! Но рядом был Мики, и она просто начинала хлестать Броньку травинкой, чтобы привлечь к себе его внимание. А он, занятый своими мыслями, не отзывался.

Однажды она рассердилась и спросила:

– Что, прикидываешь, как воплотить в театре идею этой сумасшедшей воспитательницы?

Бронек вскинулся и посмотрел на нее удивленно. А потом усмехнулся и сказал:

– Не так это глупо, как ты думаешь. Только ведь никто не даст.

– "Лебединое озеро"? – заинтересовался Мики.

– Нет-нет! Что-нибудь Шопена... Может быть, второй концерт...

Он напел три-четыре ноты, но Дора перебила его.

– Шопен! Шопен! Нет, что ли, других композиторов?

– Есть, конечно. Но это же так естественно! *Sam jestem Polakiem i Kocham Chopina**.

* Я сам поляк и люблю Шопена – польск.

– Ну какой же ты поляк! – пожала плечами Дора. – Мать у тебя – еврейка, отец – серб, уехал ты из Польши сто лет назад...

– Ну и что? – удивился Бронек. – У Шопена отец – француз. И с матерью его не совсем ясно. Он тоже рано уехал из Польши. И все-таки он – поляк. Он дух Польши! Я думаю, главное – это детство. Вот ты, Мики – ты кто? Итальянец?

Мики задумался как-то очень серьезно.

– Не знаю, поймешь ли ты... Я – горбун. Иногда мне кажется, что это нация. – Он помолчал и добавил со смехом. – А может быть, даже раса...

Дора закатила глаза и хотела что-то сказать, но Мики тут же перевел разговор на другую тему.

Зародыш слегка сердился на Мики, который поспешил перебить сестру. Было так интересно: что же она могла бы сказать об этом... Она ведь не то что произнести – она еще и подумать ничего не успела, а Мики уже испугался, заранее уверенный, что слова ее обязательно покорабят Броника.

Мики считал, что Бронек не вполне понимает Дору, какое-то ее глубинное изящество и тонкость. Он часто спорил с Броником. Иногда терпеливо, даже чуть свысока, а иногда с горячностью – когда Бронек заводил свое о "мелодии", о прекрасной скрипке без резонатора, или в который раз начинал досадовать из-за утерянной фотографии.

– Это я виноват! – оправдывался Мики. – Надо было снять копию, прежде чем отдать фотографию ребенку.

– Тринадцать лет – не такой уж ребенок! Ты-то сумел сохранить ее! А ведь тебе было всего пять!

– Что же ты сравниваешь! У меня ведь все сложилось совсем по-другому!

Тут Мики начинал разводить уже полную ахинею. О своем необычайном везении, о тепличных условиях, в которых он оказался, угодив в туберкулезный санаторий. О старого типа врачах и учителях, счастливо уцелевших в закутке, не тронутым новыми временами. Он, Мики, попал в естественную для него атмосферу мягкой интеллигентности. А вот Доре, бедненькой, не повезло: ее с самого рождения жестокая судьба втолкнула в жизнь, суровую и бездушную, на неумолимо движущийся конвейер...

– Ты можешь себе представить? – волновался Мики. – Ребенка изо дня в день будит горн! Или горластая тетка открывает дверь и орет "Подъем!" Или "Отбой!" А у ребенка нет даже воспоминаний, не с чем сравнивать!

Доре было смешно. Она знала, что Броника именно это и привлекает в ней: звонкая пустота без воспоминаний. Дора работала в детдоме и сама кричала по утрам "подъем", а по вечерам "отбой". Так же она будила и Лизоньку, сознательно сопротивляясь размягчающему влиянию Мики и Броника.

Дора считала себя хорошим педагогом. Она не могла бы сказать, что любит свою работу, потому что это была не работа, а продолжение ее прежней жизни, существующей параллельно с ее жизнью новой. Дора никогда не упоминала при своих воспитанниках о том, что у нее есть ребенок и муж – но не потому, что

умышленно избегала этого. Она просто... как бы забывала на время об их существовании. Забывала о том, что у нее есть своя комната, уютные обжитые вещи. Она была абсолютно искренна, когда гордо говорила своим воспитанникам: "Я тоже детдомовка!"

Своим домом, своей семьей она гордилась – и не так, как гордится этим обычная женщина, а как-то именно по-детдомовски, по-сиротски – победно. Как человек, добившийся в жизни чего-то, на что не мог рассчитывать. Почему не мог? Да она просто не поняла бы, если бы кто-то спросил ее об этом. Никогда она не чувствовала себя бедной, обделенной. Да, у нее не было родителей – но она не жалела об этом всерьез. И совершенно искренне недоумевала, когда Мики спешил объяснить любой ее промах тем, что в детстве ее не баловали, не закармливали пирожными, не укачивали под оперные арии. Уж ей-то было хорошо известно, насколько легче живется в детдоме тем, кто не помнит своей семьи.

Однажды к ней в детдом привезли мальчика лет восьми... Это было вскоре после того, как ее назначили директором. Ухоженный ребенок из благополучного дома. Нет, не просто благополучного. Как-то особенно любовно был наглажен воротничок его рубашки, начищены ботиночки... Светлые волосики были зачесаны набок, и казалось, что их мыли по одному.

Он плакал, когда его ввели в кабинет Доры. Плакал, садясь на стул, плакал навзрыд и не отвечал ни на один ее вопрос. Дора, и не заглядывая в документы, знала, что произошло с мальчиком этой ночью... Он был не первый, у кого арестовали родителей, но первый, кто так откровенно и смело предавался своему горю, не принимал ни помощи, ни утешения.

Дора сама принесла ему с кухни обед. Он даже не посмотрел на еду. Тогда она сходила на склад за бельем и постелила тут же, на коротеньком кожаном диване. Он не ложился, так и уснул сидя. Впервые в жизни Дора видела, как плачет спящий человек: всхлипывает, стонет и не просыпается. Она решила, что не пойдет ночевать домой. Бронек уже три дня как уехал на гастроли, с Лизонькой оставалась няня.

Дора села так, чтобы загородить от мальчика свет лампы, и стала разбирать накопившиеся бумаги. В те годы к канцелярской работе стали относиться гораздо серьезнее. Теперь уже нельзя было просто так назваться французом или Дорой Копперфилд.

Заполнив "личное дело" мальчика, Дора заперла его в шкаф. Ключ от этого шкафа она никогда никому не передавала. И не поощряла любопытство своих сотрудников. "Нас не касается, погибли их родители, арестованы или спились. Для нас они все одинаковы, все – сироты".

Она так и не заснула в ту ночь. Глядя в темноту, на завалившегося в угол ребенка, на личико, начинающее остывать и привыкать во сне, Дора думала о том, что вот так же плакал когда-то маленький Мики, возвращаясь из больницы с узелком не принятой еды – пока не выпал спиной на рельсы из переполненного трамвая. Она впервые поняла, что имел в виду Мики, постоянно твердивший: "Мне тогда очень повезло!" Это была конкретная боль, перекрывшая нечто другое, более страшное. То, с чем мальчик, спящий на казенном диванчике, остался наедине.

Доре было неловко смотреть на него. Казалось, вокруг ребенка стоит облачко чьей-то любви, заботы, какого-то неведомого уюта. Она говорила себе, что все это вздор и блажь, а вместе с тем почти видела, как облачко медленно тает, и думала, что это, наверно, очень больно, и что, слава богу, ей не пришлось такого пережить.

То был один из немногих дней, когда Дора ни одним своим словом, ни одним поступком не разочаровала Зародыша.

И все же чего-то в ней не хватало. Вот этого самого облачка. Зародыш чувствовал точно такое же вокруг себя – оно защищало, грело, ласкало, оно казалось незыблемо надежным. И так грустно было знать, что оно растает, что его никак нельзя сохранить для Доры! И Дора даже не поймет никогда, чего именно была лишена от самого своего рождения.

Зародыш развернулся и замер, напряженно впитывая, вписывая в себя звуки дома. Рядом, за неплотной прикрытой дверью, чуть слышно посапывая, спал Мики. Отец, полулежа на диване, читал газету, стараясь не шуметь хрусткими листами. Кряхтела курица в сарае на заднем дворе... Кухарка чистила толченым кирпичом кофейник. Всхлипывала мадам Ларок, растроганная теплой надписью на подаренной фотографии. Били колокола на Санта-Тринита, били часы в гостиной, били часы на первом этаже, били часы в домах напротив, чуть не совпадая в своем представлении о времени. Неподвижные листья терпеливо ждали ветерка.

Мать стояла у окна, глядя на яркий солнечный свет, насквозь пронизывающий дворик, и счастье, осязаемое и материальное, как звон или жар, разрасталось в ней, искало выхода, вибрировало в груди, напрягало горло щемящей мелодией. Вроде бы несложной, вроде бы не грустной...

Зародыш знал, что эта мелодия ни разу не прозвучит в длинной Дориной жизни. Ее не будет ни на одной из пластинок Бронека, ни в одном из "радиоконцертов по заявкам", которые Дора Яковлевна так любила до глубокой старости. Эта мелодия ни разу не донесется из окон музучилища, мимо которого Дора Яковлевна ходила на работу.

Зародыш страшно напрягся в еще одной безнадежной попытке вынести эту мелодию в будущее, в сознание маленькой Доры, засыпающей под блеклым одеяльцем с черной печатью "Детдом N 1". Попытка пробиться к ней изнутри и снаружи, уверенный, что в личике этого ребенка сразу прибавилось бы рассеянной мягкости, добродушной неуверенности, ироничной несерьезности, которых так недоставало Доре взрослой. Но пробиться не удалось. Возможно, из-за ночного буханья и воя, из-за грохота идущих навстречу друг другу поездов, из-за вокзального крика – всего, что взметнул над Дориной жизнью первый год войны. Все это стояло над ее восьмьюдесятью двумя годами, заглушая, делая почти неслышимыми детскую песенку, сладкий полет оркестра, скороговорку невыключаемого телевизора – так что Дора Яковлевна всю жизнь казалась глуховатой при своих совершенно здоровых ушах. А, может, людей вводил в заблуждение ровный негнувшийся голос. Или неумение расслышать чью-то недосказанную мысль. "Да не мямлите же, – требовала Дора Яковлевна, – говорите прямо!"

Больше всего доставалось от нее Мики. Он-то как раз и не умел прямо. Всегда и во всем сомневался. Боялся быть назойливым, вмешиваться в чужие дела. Да и что он мог сказать ясно? Что он знал такого, чего бы не знали все? Он тоже полагал, что если война и начнется, то где-то далеко, как это было с Финляндией. А неясные предчувствия... Так именно Доре он и не мог сказать: "Мне как-то тяжело. Не хочется, чтобы Бронек ехал во Львов. Да еще с ребенком". Будь Дора другой, она бы все это увидела на его лице, услышала в голосе, как ясно видел и слышал это Зародыш.

У Доры были другие проблемы. Она привыкла к тому, что они с Бронекком как бы одни в мире. Как бы оба сироты. И вдруг оказывается, что две старухи, о которых столько рассказывал Бронек, живут себе по старому адресу, во Львове, а в этот Львов, хотя он и стал уже советским, нельзя взять да и поехать просто так, и приходится бегать по разным учреждениям, добиваться какого-то дурацкого пропуска, а беспомощные старухи не понимают, почему Бронек медлит, и забрасывают его письмами на чужом языке, которые Бронек читает как-то отдельно от нее...

Доре не хотелось, чтобы Бронек разглядел в ней эту ревность, и потому она поддерживала его, даже чересчур горячо. Помогала заполнять бумажки, искала подарки... А главное – сама предложила ему взять с собой Лизоньку.

Бронек не просил об этом, и предложение Доры его растрогало и удивило. Не то чтобы до этого Дора не доверяла ему ребенка: просто он сам неуверенно чувствовал себя, оставаясь наедине с Лизонькой. Боялся, что она может ушибиться, простыть, съесть что-нибудь не то.

Сама Дора вела себя с ребенком как-то очень смело, почти легкомысленно. Давала дочке грызть пирожки, купленные на улице, позволяла ей лазить где хочется, не прятала от нее ножницы и вилки. И ничего плохого не случилось. Пирожки не вредили Лизоньке, она редко простужалась. Споткнувшись, с ангельской медлительной мягкостью опускалась на попку и лишь оглядывалась удивленно.

Несомненно, Лизонька была очень легким ребенком. Но Дора не говорила Бронекку: "Не бойся, ты запросто с ней справишься. Она может есть то же, что и ты. Одна ночь – и вы на месте". Она говорила: "Ты представляешь, какая это будет для них радость?!"

Знала, чем пронять! Но даже в самом конце, перед отходом поезда, Бронек был готов отдать ей ребенка. Возможно, из-за Мики: какой-то он был в тот день уклончивый и усталый. Бронек посматривал на Мики вопросительно, будто ждал именно от него окончательного решения.

Мики потом всю жизнь казнил себя за ту неуместную деликатность, вечно каялся... "Я должен был прямо сказать: "Сейчас неподходящее время для поездок. Тем более с ребенком... Со дня на день может начаться война..." А я, дурак, боялся вмешиваться..."

Дора, слушая его, неизменно молчала, глядя в пол – хотя и помнила прекрасно тот день, видела его не хуже, чем Зародыш. Пристальный и умоляющий взгляд Мики. Лизоньку, привычно прилипшую к дядиной птичьей груди. Помнила, как с веселым упрямством расцепила ее ручки. Слышала смущенный лепет брата: "Может, не нужно..." Он тогда еще что-то сказал – когда

поезд уже дернуло, качнуло с лязгом. Бронек в окошке указывал на них растерявшейся Лизоньке и махал ее крошечной ладошкой.

Дора прошла с ними рядом несколько шагов, пока поезд набирал скорость, и отстала. Странно, что впоследствии именно это вызывало в ней особую, почти невыносимую досаду: ведь могла пробежать еще немного, еще несколько секунд видеть их в окне!

То был чистенький поезд, на веселом солнечном вокзале. Через неделю, на том же месте, в неразберихе, в крике, Дору мотала из стороны в сторону ходящая водоворотами толпа. Дора не сопротивлялась. Поезда с запада прорывались все реже. Никто не знал, на какой путь их примут. Не было уже никакого расписания. Чаще всего составы проходили, не останавливаясь. Дора смотрела в окна, до ломоты напрягала глаза. Зачем-то выкрикивала им вслед имя Бронька. Кому-то помогала перетаскивать вещи, кому-то задавала нелепые вопросы. Говорили, что поезда в дороге страшно бомбят, что во Львове уже хозяйничают немцы. Но она каждый день вырывалась с работы, чтобы забежать домой и прямо оттуда – на вокзал. Трамваев стало меньше, они часто застревали среди улицы. Тогда она шла вдоль колеи, не замечая ни воя сирен, ни тарыхтения зениток. Что-то грохотало, жутко и неправдоподобно, как грозовые раскаты в погожий день.

В театре почти никого уже не было. Стараясь не смотреть Доре в лицо, ей предлагали эвакуироваться с очередной группой. Она отвечала, что боится разминуться с Броньком, что без нее он не справится с ребенком и двумя старухами.

В гороно с ней говорили откровенно. Что оставаться здесь бессмысленно, что Бронек, если ему удалось вырваться из Львова, уже на востоке – и что Дора обязана выехать с детьми, как только подадут транспорт. Тем более что ее уже назначили ответственной за эвакуацию восьми детдомов. "Вы справитесь. Вы молодая, энергичная. Знаете свое дело. Да и нет никого больше, кроме вас и Коли Степаненко! Все вывозят свои семьи..." – "А у меня – не семья?!" – выкрикивала в ответ Дора. И Зародыш слышал, как в ее голосе звучит все меньше уверенности.

Что-то менялось в Доре. Ее жизнь, описав фантастическую петлю короткого счастья, возвращалась к точке пересечения, чтобы продолжить прямую линию сиротства. Дора окончательно перебралась в детдом. Она больше не чувствовала себя директором, она была одной из многих, принадлежала единому организму, полному упрямого желания выжить, и делала все, что для этого требовалось, потому что была старше всех и сильнее. Это раньше ей можно было не бояться бомбежек, а теперь нельзя, потому что ее муравейник боялся и вздрагивал в гигантских подвалах туберкулезного санатория. И Дора говорила звонким негнушимся голосом, пробивающимся сквозь все шумы и грохоты, спасительным и отрядным, как свежая вода: "Ничего страшного, ребята! Это только кажется, что бомбы падают рядом! Просто дом стоит на горе. Потерпите! Дошкольников уже увезли! Через два дня нас отправят по Днепру на пароходе".

Бегала по учреждениям, требовала, стучала кулаком, и комсомольский вожак Коля Степаненко носился за ней, преданный, как апостол, пытаясь перенять на ходу ее сиротскую наглость, беззвучно, одними губами, повторяя каждое ее слово. "Мы не можем везти детей без сопровождения врача!" – "Нет

врачей! Подберете где-нибудь по дороге!" – "Как это "подберу"?! Что я, увижу его в окошко и остановлю поезд?"

Зародыш с удивлением вслушивался в Дорин уверенный голос. Голос, который перешибал чужой страх, чужое безразличие. Голос, за которым со слепым старанием шаркал, перетекал из переулка в переулочок молчаливый поток, теснясь к стенам, прячась в предательских остатках утренней тени, через пустеющий город, безумно огрызающийся последними зенитками, готовый принять свою новую судьбу. Тек с муравьиным упорством Дорин детдом, согнутый под тяжестью рюкзачков, в которых стучали друг о друга, отмечая каждый шаг, миска, кружка и ложка, засунутые поверх белья, зимнего костюма, пальто и ботинок, из которых не следовало вырастать... И по такому же приглушенному рокоту Дора знала, что еще один поток приближается к ним справа, со стороны центра. Гроыхали на тележках жестяные короба с нелепыми продуктами, которые в спешке выдали Доре на кондитерской фабрике, и настырные осы ходили роями вокруг них, будто надеялись отбить свое добро. И страшно было, что этот осиный гул помешает вовремя различить дальний гул самолетов... как уже случилось, когда первый раз пытались добраться к пристани. И солнце поднималось как-то быстрее, чем обычно, и досадно было, что не решились разбудить детей еще раньше, и все это напоминало Доре что-то давнее. Какое-то нелепое ожидание радости набегало с порывами ветерка, но у нее не было ни желаний, ни возможности разобраться в этом. Она не узнавала привычное место, потому что обычно подходила к нему со стороны трамвая. Да и площадь перед пристанью была неузнаваема: из конца в конец ее заполняла толпа давящих друг друга людей. И упершись в эту толпу, в ее визг, вой и брань, Дорины муравьи остановились, застыли в тесном переулке. "Пропустите, пропустите детей!" – надрывался сорванный голос где-то слева. "У нас тоже дети!" – отзывались полные обреченной злобы женские голоса. "Ваши дети с вами, а мы везем сирот! Товарищи, проявите сознательность! Сироты! Поймите! Это транспорт для детских домов!"

Дора бросилась назад, в загустевшую мешанину детских лиц, неразличимых из-за общего выражения уверенности в ее могуществе и в своем собственном праве на жизнь... застучала в какие-то двери, завертела твердым пальцем телефонный разболтанный диск, закричала в трубку: "Срочно примите меры! Нам срывают эвакуацию!" Она ненавидела эту толпу на пристани так же, как ее зажатые в переулке сироты, – и почувствовала себя так, будто одержала победу над каким-то чудовищем, когда толпа, теснимая прибывшими на грузовике солдатами, раздалась на две стороны, оставив прямо перед Дорой просторный коридор, через который тут же дохнуло в лицо знакомыми запахами реки, и стали видны перила пристани... вербы, белая полосочка песка на левом берегу, стало слышно буханье дебаркадера, так что на какую-то секунду она удивилась тому, что Мики не стоит на своем обычном месте.

Детские ноги захрустели песком на деревянной лестнице. "Детдом номер восемь! – выкрикивала Дора. – На посадку! Спокойно! Без паники!" Она стояла на квадратной площадке, где обычно стоял контролер, и торопливо проставляла галочки в списке. "Детдом номер двенадцать! Товарищи провожающие, не задерживайтесь на пароходах!"

Зеленые мешочки мелькали перед глазами Доры, подпрыгивая и толкая друг друга, скатывались вниз на причал.

Дора спустилась последней. Звенели цепи, ерзали под ногами скользкие мостки, пахло нагретой смолой и резиной... Пароход попятился от причала, развернулся и поплыл вниз по течению. Дору чуть затошнило, и снова мелькнула в голове какая-то блажь, что вот, мол, снова поздно выехали, по жаре... Но тут же она очнулась – и как-то разом увидела удаляющийся берег: пыльную зелень августа, разбитый чемодан, повисшую на колючих кустах одежду, и на фоне белого неба – людей, все еще напирающих зачем-то на железные перила... Теперь это не была уже враждебная, ненавистная толпа – она распалась на отдельных мужчин и женщин, и ей необъяснимо четко был виден каждый, со своим страхом, со своим нежеланием смириться. Казалось, за эти несколько минут она запомнила их на всю жизнь. Но Зародыш знал, что уже к вечеру ей начнет мерещиться в этой толпе Бронек, а на следующее утро она точно вспомнит, что разглядела его лицо и услышала его голос: "Пожалуйста! Возьмите хотя бы ребенка!"

Дора говорила себе, что этих людей не бросят, что за ними пришлют дополнительный транспорт. Какие-нибудь баржи... Их много попадалось по дороге. Были даже самодельные плоты.

Где-то на полпути к Днепропетровску они догнали спокойно плывущую по течению цепочку покореженных обломков – доски, обрывки тряпья... По каким-то приметам Коля Степаненко решил, что это один из кораблей, на которых отправляли дошкольников. Он велел Доре увести детей с палубы, да и самой запретил смотреть. Но обломки еще долго тянулись за ними, будто не хотели отставать от низки празднично-белых корабликов.

Зародыш старался не задерживать свое внимание на том августе, лучезарном и солнечном. Из-за Матери. Он все-таки не был вполне уверен в том, что ее сознание надежно защищено от всех этих плывущих обломков, от надрывных воплей поездов, которые несутся с грохотом от лета к осени, от вокзала к вокзалу... Особенно смущали его те мгновения, когда два состава, торопящихся – один на восток, другой на запад, – чиркнув всей своей длиной друг о друга, как бы зависали в остановившемся времени. Ему казалось, что именно в такие мгновения происходят прорывы, выбросы из будущего в прошлое, которые могут омрачить счастливые дни его Матери. Не так их много оставалось.

Наверно, самым страшным на этом пути были временные пристанища. Брошенные и разграбленные здания: школа с выбитыми окнами, дом культуры с огромными картинами по стенам и необозримыми загаженными паркетными полами. И каждый раз они, Дора и ее муравьи, принимались скоблить и скрести, уверенные в том, что уж на этот раз здесь и останутся. Любовно выкладывали вдоль стен ряды соломенных лежанок, сушили на кустах и заборах черные сиротские трусы и голубые майки.

Дольше всего они прожили в шахтерском санатории – белоснежном дворце с огромным парком и виноградником на пологом склоне. Таких сладких, таких драгоценно красивых ягод Дора не видела никогда в жизни, так что даже она

ненадолго поддавалась жадному возбуждению этого случайного праздника. И когда через две недели ее разбудил знакомый звук дальнего обстрела, Дора долго не могла заставить себя подняться, не могла поверить, что сейчас все начнется сначала: торопливые сборы, беготня по кабинетам, таким одинаковым, с бумагами под ногами, с вывернутыми ящиками... Но она, конечно же, пошла, храбрая и наглая от отсутствия личной корысти, юная Дора Яковлевна, на которую присмирившая детдомовская вольница возложила обязанность добиваться и спасать, и командовать группкой растерянных помощников. Сами почти дети, эти помощники с изумлением слушали, как Дора Яковлевна отчитывает пожилых неприступных начальников, с восхищением смотрели, как она перепрыгивает широкими легкими прыжками Жизели из вагона в вагон, и бросались за ней, не глядя вниз на мелькающие шпалы. Заглядывали в лицо, как студенты заглядывают в лицо профессору: "Вы считаете, это не корь, Дора Яковлевна? Да, действительно, есть вши, Дора Яковлевна! – И светлели от радости. – А мы, дураки, испугались! Подумали, что корь!"

И всему этому бесконечному эшелону принадлежали ее длинные, чуть раскосые глаза, и волнистые черные волосы, и редкостной белизны зубы, которые она азартно скалила, пролезая, согнувшись, под вагонами, с платформы на платформу. Бежала вдоль составов и, задыхаясь, выкрикивала: "Товарищи бойцы, нам нечем кормить детей!" От одной распахнутой площадки – к другой, под бесшабашный топот солдатских сапог, под хриплые разливы наезжающих друг на друга гармошек, под неуклюжие шутки мужчин, уходящих на смерть. "Товарищи бойцы, помогите, чем можете! Нам нечем кормить детей!"

И, будто подтверждая ее слова, смотрели на солдат детские лица, прижавшиеся к десяткам нечистых окон запертых вагонов. Следили за тем, как падают на платформу коричневые бумажные мешки, как набирает скорость внезапно тронувшийся эшелон, как поднятый им ветер рвет на Доре Яковлевне старенькое платье и старается затянуть ее под колеса вместе с прижатыми к груди сухарями.

Хруст сухарей... У Зародыша от него стягивало кожу. Ненавистный звук! Еще более невыносимый, чем крик голодных младенцев – тех, что на одной из станций в сутолоке отступления наспех погрузили в Дорин поезд, как тучки с бьющимся грузом, – без еды, без запасных пеленок – и забрали только через четыре дня.

Но ничего этого Мать не слышала – слава Богу, не слышала. Она стояла у окна, выходящего в сад. Треугольник солнечного света с нежным шорохом подбирался к ее руке, лежащей на подоконнике. Было так тихо и спокойно, как бывает днем в доме, где спит ребенок. Тише тишины. А редкий шорох отцовской газеты и тайный ропот диванных пружин под тяжелым телом как-то особо подчеркивали этот покой.

– Может, ты все же прилегла бы? Еще есть время.

Она помотала головой, не покидая взглядом сада.

– Я не устала. Пожалуй, мы выйдем пораньше, чтоб не опаздывать. А до конца оставаться не будем.

– Как хочешь.

– Слушай, – сказала Мать, – не помнишь случайно, что это за мелодия?

И она запела легким приглушенным голосом.

– Н-не знаю... Шуберт? А, может, Шопен?

– Похоже, но как-то не совсем... Я уже просмотрела все мазурки и вальсы...

– Бывает такое. Привяжется мелодия – и ни за что не вспомнишь, откуда она.

– Я думаю, это поет наша девочка, – сказала Мать. – Эта мелодия... она меня все время переполняет, с тех пор, как я забеременела. Особенно утром. Или когда подойдешь к окну. Такое счастье! Никогда раньше такого не было!

Зародыш замер. Он вдруг поверил, что так оно и есть. Что он действительно – источник, центр невысказанного счастья, которое заливает, переполняет окружающий мир. Это противоречило здравому смыслу, противоречило всему, что он знал о себе и об этом мире. Но сейчас для него имело значение только одно. “Мы все живы. Мы все существуем рядом. Я. Моя мать. Мой отец. Мой брат. И даже – о Господи! – Бронек... Он не только уже родился, он – взрослый мальчик, школьник. И как раз в это мгновение что-то делает, с кем-то говорит, ходит, дышит...”

Зародыш не знал точно, где в это время должен находиться Бронек, но ему казалось, что это вовсе не так уж далеко, что он ясно ощущает его присутствие в мире. Чуть ли не его дыхание.

– Какой красивый день! – продолжала Мать. – И свет какой-то необычайный! Будто сегодня все пойдет по-другому! Без ночи, без вечера...

Зародыш даже задохнулся – так хотелось ему хоть на секунду увидеть этот день... Он слышал, как свет, едва заметно меняя направление, проникает все глубже в комнату, соскользая с одних предметов на другие, будто легчайшая ткань. Ничего, ничего подобного в Дориной жизни не было.

Совсем рядом, неуклюже спланировав, упала газета Отца, громко скрипнул диван, опустились на пол ноги и двинулись в разные стороны за домашними туфлями. Отец встал, и дом едва уловимо дрогнул. Скрипнула тяжелая мебель, будто устроилась поудобнее. Зародыш невольно дернулся навстречу Отцу.

– Ты чего дерешься? – с притворной обидой прикрикнула на него Мать.

Зародыш почувствовал ее руку и благодарно потерся о ладонь. Отец приближался. Приближался весь стройный шум его жизни, величественный, как шум леса и водопада, так красиво сливающийся с нежным шумом жизни Матери и слабеньким тиканьем Зародыша. Отец обнял Мать сзади и стал тихонько покачивать ее, будто баюкал ребенка:

– Ах ты моя фантазерка! Вот увидишь, родится у нас мальчишка-хулиган. Ну и пусть! Какая нам разница!

Она отрицательно помахивала головой и повторяла про себя, одними выдохами и легкой вибрацией нёба: “Не-ет, ты девочка, конечно же, ты девочка... Ты мой звонкий колокольчик! Совсем не такая, как твой братик. Он у нас немножко плакса и трусишка, но ведь ты будешь любить его и защищать, даром что он старше...”

– В чем ты пойдешь? – спросил Отец.

– В синем платье. Если оно еще годится на меня.

Зародышу было жаль, что умолк этот голос, направленный к нему изнутри.

– В крайнем случае надену лиловое. Вообще, боюсь, мне пора заняться своим гардеробом.

Зародыш поморщился. Ему уже довелось побывать у портнихи, и это было одно из самых неприятных его впечатлений. Он вообще не любил близости чужого тела. За исключением Отца и Мики. А портниха к тому же трогала и поворачивала Мать, что было просто нестерпимо. Все раздражало: и звон булавок, и сиплое от усердия дыхание, и терпкий скрежет мела, тянущего ткань...

Собственно, и сам процесс переодевания был не слишком приятен Зародышу. Его стеснял туго затянутый корсет. Еще хуже были туфли на высоких неустойчивых каблуках, лишаящие чувства покойной надежности.

Впрочем, на этот раз Зародыш был настолько занят своими мыслями, что почти не замечал мелких неудобств. Он все обдумывал слова, сказанные Матерью. Было так грустно и стыдно – оттого, что Дора не оправдала ее надежд. Зародыш лежал, понуро свернувшись, и старался не напоминать о себе. Так нашаливший ребенок, проступок которого еще не обнаружен, избегает матери и страдает от ее ласк и похвал.

И все-таки Зародыш был несправедлив к Доре. Да, она не стала для Мики сестрой-защитницей. Но разве она не сделала в своей жизни гораздо больше? Она вывезла из горящего города сотни сирот, и сколько еще детей подобрала на станциях, заблудившихся, отставших от поездов, брошенных на произвол судьбы! Разве не могла она настоять на своем, проводить до парохода этот молчаливый поток одинаковых коричневых костюмчиков, горбатых рюкзачков – и уйти домой, чтобы ждать там возвращения мужа и ребенка? И спасти их. Или погибнуть с ними вместе. Или не дожидаться их и погибнуть одной. Во всяком случае, быстро. Но Дора была человеком правильным, и математика ее была проста: тысяча детей – это в тысячу раз важнее, чем одно дитя, пусть даже такое дорогое и ненаглядное, как ее Лизонька. И она боролась за каждую из этой тысячи жизней еще и оттого, что любая потеря сделала бы ее жертву менее оправданной.

Возможно, Зародыш не мог оценить эту жертву, поскольку ему с самого начала было известно, что Бронек не вернулся в Киев, что не было его на днепровской пристани, в толпе, теснимой на две стороны солдатами. Не было на бесконечных станциях среди тех, перед кем Дора захлопывала двери своего сиротского поезда. Не было в очередях, покорно пропускавших Дориных сирот в станционные столовые, откуда шел вызывающий слезы нетерпения запах теплой каши.

Но Дора, Дора-то этого не знала! И каждый раз, когда униженная, враждебная толпа оставалась позади, темнела и расплывалась – ложная память с подлой готовностью подставляла в ее гущу два лица.

Надо сказать, что судьба была к Доре невысказанно добра. За год пути она не похоронила, не потеряла ни одного ребенка. Ее длинный поезд каким-то чудом миновали инфекционные болезни, от которых гибли дети по дороге на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию. Она чувствовала себя победительницей в тот день,

когда вела по Ташкенту длинную колонну детдомовцев. Подросших, отвыкших ходить по твердой земле, жалких в своей обветшалой одежде и развалившейся обуви. Дора очень устала, но каждый шаг доставлял ей удовольствие. Волновали незнакомые запахи чужого жилья, теплой пыли, цветущих деревьев. Дору ждали, никто не старался от нее избавиться – наоборот, каждый спешил ей чем-то помочь. Детей накормили и уложили спать прямо на земле, на снесенных со всего города коврах.

Спящие на земле дети... это было зрелище, от которого не веяло ни покоем, ни умиротворением. Двое суток они не просыпались и лежали, как брошенные на поле боя мертвецы, и все двое суток Дора не смыкала глаз, и не отпускала домой врача, который тщетно старался ее успокоить. А потом они стали шевелиться, то в одном, то в другом конце двора, и врач не давал Доре будить спящих, а у нее не было терпения ждать, она боялась, что кто-нибудь из них не проснется, а это было бы просто чудовищно: здесь, на теплой земле, не ведавшей, что такое налет или обстрел, после всех ужасов дороги!

Дора чувствовала себя ответственной за каждого из этих детей даже тогда, когда их разделили на несколько больших групп и развезли по разным городам. И она ничуть не удивилась, когда где-то через год получила письмо из Намангана, от Гали Шаломеевой. Эта девочка, которую Дора не помнила в лицо, обратилась за помощью именно к ней, а не к кому-нибудь из киевских воспитателей, сопровождавших Галин детдом из Ташкента в Наманган. Едва дочитав эти несколько строк, в которых пугающе просто говорилось о немыслимых вещах, Дора привычно ринулась по кабинетам – и уже через пять дней оказалась в Намангане.

Из одиннадцати детей, умерших за зиму в наманганском детском доме, Дориных было двое, но ей почему-то казалось, что все одиннадцать погибли по ее недосмотру, что это она легкомысленно передоверила их всех кому-то чужому, ненадежному. И Доре не было странно, когда с разных концов огромного восточного двора бросились ей навстречу дети, по большей части местные, черноглазые. Своих она узнавала по остаткам одежды, которую получила на складе перед самой эвакуацией. У остальных не было и того. Истертые в паутину трусы не прикрывали ноготы, хрупкие восточные косточки выглядели особенно жалко. Тесня друг друга, они протискивались к ней, по-детски страстно жаловались на директора, почему-то уверенные, что теперь его можно не бояться. Она не все понимала в этой смеси налетающих друг на друга русских и узбекских слов – что-то о женах директора, которые ходят сюда за мукой, о русских любовницах, с которыми он пирует по ночам в красном уголке... Ей показывали дырявые тюфяки, набитые соломой и утратившие цвет от грязи, тащили в изолятор, где на сдвинутых вплотную кроватях малярия трясла лежащих валетом желтых, стриженных налысо... то ли мальчиков, то ли девочек. Ее заставили заглянуть в окна директорского кабинета, увешанного и застланного коврами, с посеребренным бюстом Сталина, перед которым лежала на блюде тугая, невиданных размеров виноградная гроздь. Рядом на другом блюде светилась нарезанная длинными ломтями дыня. Ее аромат казался голодной Доре сильным,

как запах одеколона. А с другой стороны двора уже тянуло пряным дымком и наглой роскошью спешно затеянного плова.

Все это – и дыня, и плов – предназначалось для нее, для Доры, хотя никто толком не понял, в чем заключается ее миссия и каковы ее полномочия. Ради нее директор гонял суетливых поваров. Он издали поглядывал на Дору с искренней симпатией к ее молодости, обаянию, раскосым глазам. Барственный красавец с парализующе ласковым взглядом, он никак не мог понять, почему Дора в ответ на его гостеприимство стучит своим кулачком по столу, так что ломти дыни съезжают с блюда на скатерть. Почему, запинаясь от ярости, несет какой-то бред о плывущих по реке обломках, о муке, смешанной с водой, о младенцах, для которых жевали сухари, о какой-то площади, застеленной коврами...

– А вы! А вы! – задыхалась Дора. – Уморили голодом! Так и знайте: я вас посажу!

Зародыш чувствовал, как жирный, невыносимо-пряный запах плова густеет, заполняет все вокруг, склеивает легкие.

Нет, не имел он права прервать свою жизнь, оставить Дорин поезд без предводительницы. И не так уж преувеличивала старенькая Дора Яковлевна, утверждая, что без нее этот поезд не дошел бы и до середины пути. Застрял бы где-нибудь под Ростовом, рассеялся и пропал. И уж во всяком случае пропали бы те, кого она избавила от радушного вора, который и не догадывался о том, что он вор, не понимал, за что взъелась на него миловидная девчонка в короткой юбке – ведь он так быстро и споро организовал для нее прием... Не понимал, почему плачут люди в зале суда, выслушивая то, что она уже откричала, отхрипела в его кабинете. Какой Диккенс? Какой Оливер Твист? Не понимал. Хотя на суде она говорила куда разборчивее. Почти спокойно. Снова обломки, снова младенцы, снова солдаты, бросающие на ходу сухари... "Мы же сутками не выпускали их из вагонов, мучили их в духоте, чтобы ни один не отстал случайно, если тронется поезд! Мы же довезли сюда всех, всех до одного! Мы же думали, что спасли их!"

Директор обводил зал тяжелым от мигрени взглядом и думал, что, по-видимому, слишком слабо владеет русским языком. Ему казалось: Дору больше всего возмущает то, что его детдом не бомбили. На это он и напирал в своем заключительном слове – и еще на то, что почти все умершие дети были местные... А предостерегающие гримасы москвича-адвоката директор оставлял без внимания. Ему хотелось одного: поскорее уйти из этого зала и никогда больше не слышать голоса Доры. Звонкого, с каким-то странным надломным дребезжанием внутри.

Этот голос утомлял и Зародыша. Он напоминал ему другой невыносимый звук – лязганье ведер, которые верный Дорин помощник, незаменимый Коля Степаненко мастерил из жестяных коробок с надписью "патока".

Из душевного зала Дора вышла на такую же душевную маленькую площадь. Решение суда ее разочаровало. Она была еще слишком молоденькая для того,

чтобы понимать, как это много – пять лет. Рядом шел Коля, развернувшись бочком так, чтобы заслонить от нее трех растерянных женщин – по всей вероятности, тех самых жен директора, которые ходили в детдом за мукой. Они что-то робко выговаривали Доре вслед и указывали на своих напуганных детей. Зародыш знал, что Дора их все-таки заметила – и что эти смуглые неяркие лица, эти широкие черные платья с радужными вертикальными полосами будут следовать за Дорой по жизни так же, как обломки парохода, как толпа, напирающая на запертую дверь ее вагона, как отданная за надкушенный хлеб фотография... И все-таки, все-таки считал ее жесткой, нечуткой. Не верил говорящему взгляду Мики, у которого за любой фразой, за любым словом, обращенным к сестре, скрывалась вечная, главная мысль: "Ты все прекрасно понимаешь, ты только зачем-то хочешь казаться такой..."

Почему Дора всю жизнь стремилась противостоять этому взгляду? Что хотела доказать, от чего защищалась? Почему неизменно отвечала притворной непроницаемой ясностью? Конечно же, притворной. Пускай не все, но многое она действительно понимала. Понимала, когда на праздничном летнем вокзале забирала у Мики Лизочку, обеими ручками обнимающую его за шею... Понимала его скромную невысказанную мольбу: "Может, все-таки не посылать ребенка с Бронексом?" И виноватое заверение: "Ты не думай, тебя она любит больше!" И это вечное: "Не волнуйся, ты же знаешь, что я не заразный..."

А уж тогда, когда нашла брата в Ташкенте, в грязной больничной палате – она и сама заговорила глазами не хуже, чем Мики.

Это произошло через несколько месяцев после того, как длинный Дорин поезд прибыл, наконец, к месту назначения и распался на отдельные детдома. И они с верным Николаем остались при своих ста одиннадцати, каждого из которых знали по имени и в лицо, и чем он переболел, и чего от него можно ждать. Сто одиннадцать – было уже почти по силам, почти нормально. Главное – небо не грозило больше бомбежкой, а вместо тяжело вихляющего пола, вместо ревматически лязгающего металла под ногами была твердая и глухая земля. И лишь телу, привыкшему удерживать равновесие, ногам, привыкшим перепрыгивать несущуюся навстречу пустоту, было странно и неловко приспособливаться к наступившему покою. Да еще пространство вокруг казалось излишним – того и гляди унесет куда-то вбок.

Работы было очень много. Дора сама вела бухгалтерию, приводила в порядок обносившуюся за год одежду, воевала со вшами, ходила со старшими мальчишками ловить черепаш (сама она есть их так и не научилась), добивалась разрешения использовать под тетради конторские книги. Целую гору этих книг бросила организация, которую выселили из двух длинных приземистых флигелей, чтобы освободить место для детдома. Там же Доре выделили закуток, гордо названный "кабинетом". В нем она и жила.

Дора как раз стояла у окна, когда принесли письмо от Мики. Почтальонша через калитку отдала его девочке, и Дора видела, как та бежит через переполненный солнцем двор, бежит и машет белым конвертом, похожим издали на маленького голубя. Если бы Дора сама взяла у почтальонши письмо, она сразу узнала бы почерк Мики. Но девочка бежала так долго... и так радостно... А

главное – сразу по приезде Дора направила письмо в Бугуруслан * и каждый день ждала ответа... Она, разумеется, запрашивала данные и о брате, так что при других обстоятельствах была бы рада. Но... девочка так бежала, так махала, что она успела столько всего предположить...

* В годы войны в Бугуруслане располагалось Центральное справочное бюро по розыску эвакуированных.

А Мики писал о том, как долго ее разыскивал. Что уже не надеялся найти. Дора, прекрасно зная манеру брата никогда не высказываться прямо, прочла это письмо примерно так: "Я уже год посылаю запросы во все инстанции. О Бронке и Лизочке никаких сведений нет. Но ведь и о тебе целый год не было никаких сведений – так что у нас еще остается надежда..."

Снова Мики нашел ее – и снова она была разочарована. Почти без интереса прочла о том, как он эвакуировался со своим главком, и как был поражен, узнав, что сестра, оказывается, живет совсем рядом, в том же Ташкенте, в нескольких кварталах ходьбы... И не прибежал он к ней только потому, что слегка приболел.

Уже через час Дора шла по городу в своем лучшем платье, в том, что было куплено к свадьбе. С лицом почти таким же красивым и решительным, с каким она входила в кабинеты железнодорожного начальства. Однако в общезнании Доре сказали, что накануне вечером Мики отвезли в больницу, потому что у него отнялись ноги. Дора сразу же направилась туда.

Посетителей не принимали, но пожилая медсестра провела ее по темному коридору, велела подождать и исчезла в палате. Узкая щель, оставленная ею, не прибавила в коридоре света, но мгновенно наполнила его горячим воздухом, тяжелым от скисшего мужского пота. Дважды прорвался и смолк режущий ухо длинный вскрик... или визг. Не мужской, не детский. Доре вспомнилось вычитанное где-то: "крик раненого зайца". Почему-то она была уверена, что кричал Мики. Доре захотелось сейчас же уйти, но она пересилила себя и на зов медсестры вошла в палату, спокойная, даже с улыбкой на лице.

Мики лежал в самом дальнем и самом темном углу, и Дора сначала не уловила на той кровати очертаний человеческого тела: ей показалось, что туда в беспорядке свалены какие-то подушки, тряпки... Потом она увидела острый задранный подбородок, запрокинутую голову, силящуюся подняться ей навстречу, угол глаза с пристальным говорящим зрачком.

Все так же улыбаясь, Дора пробиралась между кроватями и думала о том, что впервые видит брата лежащим – и как, оказывается, ему неудобно и трудно лежать! Она издали отыскивала, как бы собирала в единое целое его длинные ноги, нелепо торчащую вбок треугольную грудь, облепленную огромной взмокшей больничной рубахой.

Дора вздрогнула. Она вспомнила, как дочь, уточнив деликатно "Лиза любит маму!", соскользала с ее коленей, приникала к этой самой груди и шурила самозабвенно глазки...

Мики все это видел. И хотя говорили они о чем-то совсем другом, приличествующем случаю, – смотрел он на нее так, будто только что она на всю палату сказала: "Теперь ты понимаешь, что не должен был позволять ребенку прижиматься к себе?" – "Но меня уверяли, что я совершенно не заразен! – взглядом оправдывался Мики. – Врачи считают, что этот процесс начался от здешней жары и недоедания. А я больше года не был в контакте с ребенком!" – "Откуда мы знаем, что сейчас с ребенком?" – тоже взглядом перебивала она, будто главной опасностью для ребенка был этот самый злосчастный туберкулез. Поразительно, но она испытывала при этом что-то вроде удовлетворения, какое доставлял ей любой промах Мики, любая его вина, настоящая или кажущаяся.

Впрочем, всё это были даже не мысли. Скорее – какие-то тени мыслей. А слова и действия Доры были правильные. И Мики впоследствии не так уж сильно преувеличивал, повторяя, что спасла его сестра – хотя, конечно, спас его ленинградский профессор Фогель, рискнувший сделать операцию. Но и Дора была на высоте, так что даже Зародышу почти не к чему было придраться. Его коробила лишь спокойная готовность, с которой Дора принимала благодарность Мики. Все-таки в самый тяжелый, в самый ответственный момент ее не было рядом: как раз прибыло письмо из Намангана, и Дора выехала туда. Справедливо ли было винить ее в том, что в Намангане она почти не вспоминала о брате? Но Зародышу стыдно было слышать голос стареющей Доры Яковлевны, из года в год набирающий тайную горечь. "Я вытащила его из могилы..." И за этим всегда маячило некое: "а он..."

Нет, никогда у нее не было ясной мысли, что вот, дескать, Мики предал ее, женившись на Соне. Или предал Лизочку, став отцом... Но эта дребезжащая глубина в голосе, когда она произносила: "Он женился как раз после моего возвращения из Львова..."

У Зародыша мельтешило в мозгу от фразы, повторенной сто раз в учительской, в больничной палате, в купе поезда, на лавочке в парке, в приемной зубного протезиста: "И вот я приезжаю из Львова, где мне сообщили, что мой муж и ребенок погибли, а он меня встречает радостной новостью: "Поздравь меня, я женюсь!"

Зародыш видел, как с годами эта нескладица обретает все более устойчивую, незыблемую форму, хотя, спроси кто-нибудь Дору, в каком году она ездила во Львов, Дора, несомненно, ответила бы, что в сорок седьмом, что раньше туда попасть было невозможно.

В сорок седьмом... Прошло почти два года после окончания войны, и давно уже не было у них никакой надежды. К тому времени даже Мики перестал посылать свои бессмысленные запросы в Бугуруслан, в Москву, в Международный Красный Крест. Дора надеялась лишь узнать какие-нибудь подробности, взглянуть на дом Бронька.

Дом она нашла. И он не вызвал в ней никаких особых чувств. На лавочке у входа сидели три женщины. Дора подошла к ним. И они очень просто, как о

самом обыкновенном деле, рассказали ей о том, что Бронек – с ребенком, больной матерью и выжившей из ума бабкой – не смог вырваться из города. “Когда ваших стали забирать, он договорился тут с одной соседкой, что оставит у нее дочку. Но дите страшно кричало, и пришлось взять ее с собой. Вы не огорчайтесь, все равно бы кто-то донес”.

Женщины смотрели на Дору выжидающе: вот сейчас она заплачет, и тогда станет ясно, как себя вести: уговаривать ее, давать воду, валерьянку, усаживать на скамейку... Но Дора стояла перед ними, прямая, с лицом, лишенным всякого выражения, даже вопросов не задавала.

Погода была пасмурная, но ясная. За спиной у Доры, в соседнем доме, кто-то разучивал второй концерт Шопена, без конца повторяя один и тот же пассаж. Именно тот, который Бронек так часто насвистывал. Казалось, время застряло в одной точке и никак не может переступить в следующую минуту. Дора невольно оглянулась, поискала глазами окно.

– Это не ваш рояль, – строго заметила одна из женщин.

По тому, как она сложила губы, было ясно, что женщина не собирается рассказывать, где сейчас находится “Дорин” рояль. Соседки ее явно одобряли.

Дора была чужая, и ее появление всех откровенно тяготило. К ней несколько потеплели лишь тогда, когда поняли, что ее ничуть не заботят ни вещи, ни квартира. И все же настоящего, человеческого сочувствия она в них не вызывала.

Издали Доре показали соседку, которая согласилась взять к себе Лизочку. Сухая, несимпатичная старуха шла куда-то с ведром... Спросили, не хочет ли Дора с ней поговорить. Дора не хотела. Она вдруг испугалась, что услышит что-то такое, с чем станет еще труднее жить дальше. Дора уже смирилась с тем, что Бронек нет, но невыносимо было бы узнать, что перед смертью его как-то унижали. Тащили, толкали, может быть, раздели...

Дора еле заставила себя спросить, где их похоронили.

– Куда свозили с тюрьмы на Лонского? – обратилась к соседкам одна из женщин.

Те переглянулись, пожали плечами.

– Может, в Янов? – предположил кто-то неуверенно.

– Да нет, Яновский – это уже потом...

– Это далеко? – спросила Дора. – Как туда добираться?

– Да чего вам туда ехать? Ничего там нет. Ровная земля, песок серый...

Дора постояла еще немного и уехала на вокзал. На следующий день она вышла на работу.

Что же касается Мики и его женитьбы, то произошло это еще год спустя, о чем Дора тоже, конечно, помнила. Откуда же взялось это несправедливое раздражение? Почему Зародыша просто преследовал тихий недобрый шелест? “И вот возвращаюсь я из Львова...” Так хотелось ему выдрать из Дориной жизни, как страницы из ветхой книги, все эти сцены, разговоры с намеками! “Конечно, у него были свои интересы, свои устремления...”

Дора будто прощала Мики, но введенные в заблуждение попутчицы, соседки по палате, участковые врачихи осуждали брата-эгоиста. Как минимум, за поспешность.

Поспешность... Да если бы Мики видел, что способен хоть как-то заполнить пустоту Дориной жизни, он никогда не женился бы, не отнял бы у сестры ни крошки своего внимания, своего времени! Но Дора превращала брата – с его болезнью, с постоянной угрозой обострения – в тяжкий долг, в мрачный смысл своего существования. Конечно, у нее была еще работа – но как-то отдельно, сама в себе. А Мики хотелось, чтобы Дора жила, чтобы Дора была счастлива. Он понимал, как трудно ей принять нечто взамен Броньки и Лизоньки. Хуже того, ему самому было почти невыносимо представить себе рядом с Дорой другого мужчину и другого ребенка. Но он надеялся на молодость Доры, на то, что жизнь – хочешь или не хочешь – продолжается, а память слабеет. Оттого и отказался он, вернувшись в Киев, поселиться с Дорой, в ее длинной и темноватой, но сухой комнате. Снял угол – у старика-пьяницы, зато совсем рядом с Дорой, так что каждый вечер, возвращаясь с работы, он забегал к ней. Ненадолго.

Мики даже не раздевался. Садился на диван. Полы его расстегнутого пальто, довольно дорогого по тем временам, резко изламывались какими-то неожиданно изящными складками. Дышал свежестью раздвинутый шарф. Вызывающе красиво выглядели длинные ноги – одна присогнутая, другая выставленная вперед. И бледная кисть, как бы случайно забытая, свисала совсем уж картинно на фоне темных наутюженных брюк. Доре так и слышался голос Броньки: "Нет! Ну откуда в человеке столько изящества!" И она снова испытывала что-то вроде той давнишней досады на мужа. Что-то такое, непонятное... Будто Бронек, восхищаясь ее братом, подбивает Мики оставаться горбуном и уродом. Будто в угоду Броньке Мики мог бы и переиначить свое прошлое... Не поехать тогда на трамвае, опоздать, к примеру. Или решить добираться домой пешком. И не надвинулся бы лоб на эти чудесные глаза, не заострился бы нос, не растянулись губы. И не было бы этого утомительного множества налагающихся друг на друга смыслов: "Я все вижу. Я знаю, что тебя раздражает даже мое пальто. Но это неважно, это мелочи. Ты совсем другая. Я-то лучше знаю, какая ты на самом деле!"

А Зародыш любовался Мики и думал, что ему вовсе не хочется, чтобы тот был каким-то другим. Высоким стройным красавцем. Или пусть бы их было двое. Еще неизвестно, кого из них предпочла бы Соня, будь у нее выбор.

В отличие от Доры – да и от самого Мики – Зародыш вовсе не считал, что Соня вышла замуж исключительно из-за своего отчаянного положения. Ну да, только что закончилась война. Мужчин осталось мало. Действительно, Соня голодала. И ей было очень трудно жить в одной комнате с отцом, замужней сестрой и племянниками. А Мики к тому времени занимал не по годам высокую должность. Он получил красивую комнатку с балконом в общей квартире. Но напрасно Дора так легко согласилась с точкой зрения брата.

– Меня познакомили с милой девушкой, – начал Мики, глядя на свое колено. – Она очень нуждается и не имеет собственного угла. Разумеется, при других обстоятельствах я не мог бы и мечтать о такой жене. Но что поделаешь... – Он как-то горестно и сочувственно повел головой. – Она согласна. В конце концов, я

хороший юрист. И не подлец. Я хотел бы знать твое мнение. – И он посмотрел, наконец, прямо на Дору.

И Дора без труда различила все три не высказанных им мысли.

"Я хочу, чтобы ты была свободна и счастлива." "Эта девушка мне действительно нравится." "Мне стыдно – но я все-таки мужчина, и мне это нужно. Впрочем, если ты против..."

– Почему я должна быть против? – пожала плечами Дора. – Ты взрослый человек. Поступай так, как находишь нужным.

Она не утруждалась придать своему спокойствию доброжелательный вид, изобразить что-то вроде робкой радостной надежды. Дора видела, что решение уже принято, и не обижалась. В конце концов – разве она советовалась с ним, когда встретила Броньку?

На фоне фантастического романа, начавшегося со стремительного шенэ в темном коридоре оперного театра, женитьба Мики выглядела для Доры сделкой, тщательно обдуманной со всех сторон. И все-таки – как это странно! Неужели она не понимала, что Мики не мог говорить о себе иначе? Почему она как бы соглашалась с ним своим молчанием? Ведь ей было прекрасно известно, что есть в нем множество достоинств – и главное вовсе не то, что он "хороший юрист"! Человек, который познакомил Соню с Мики, наверняка перечислил ей по крайней мере часть этих достоинств. Вряд ли Соня согласилась бы знакомиться с мужчиной лишь на том основании, что он обеспечен и "не подлец". Так что Дора была несправедлива и к Соне, и к Мики, полагая, что он "купил себе жену за теплую комнату и тарелку супа".

Если бы Зародыш мог стереть из жизни Доры эту фразу, повторенную вслух! Как она саднила ему совесть! Сводила на нет все лучшее, что сделала в эти годы Дора.

Каждый день она выезжала на работу в половине шестого утра и добиралась туда с тремя пересадками. Детдом, где она работала до войны, был разрушен, и новые Дорины сироты теперь ютились в фанерных летних домиках бывшего пионерлагеря, очень ненадежных, почти игрушечных. Правда, лес вокруг был необычайно красив. Дети, по большей части подростки, пережившие оккупацию, кое-как одетые, вечно голодные, научившиеся побираться и подворовывать в ближних селах и на базарах, не вызывали в Доре привычного теплого чувства. Она больше не была одной из них. Приходилось себя пересиливать. Дни сменяли друг друга, тяжелые и скучные. Дора проживала их с тем же упрямым безразличием, с каким каждый день ела детдомовский гороховый суп – жидкий, отдающий мешковиной и плесенью. Другой еды не было. Не было одежды, постелей, тетрадей. Дора знала, что ничего этого действительно нет, и взять негде, но все равно делала то, что привыкла делать: ходила по кабинетам, стучала кулаком... Уже не такая молоденькая, не такая хорошенькая. Отяжелевшая Жизель... От окошка к окошку, от начальника к начальнику, со склада – в милицию. Вызволяла своих малолетних воришек и шулеров, врывалась в полуразваленные халупы, тащила за руки своих полуголых беглецов, давила каблуком их самокрутки, выливая водку – а потом, как ни в чем не бывало, собирала на утреннюю линейку, на урок ручного труда, на репетицию, хлопала в

ладоши, отбивая такт гопака... Ах, как они неслись по поляне, Дорины казаки, как грохотали по сухой земле твердыми пятками, выбивая серую пыль! Как, не жалея себя, бросались навзничь! набок! в последнюю секунду успевая подставить ловкую ладонь! Даром, что вместо музыки был осипший Дорин голос, а вместо красных шаровар – трусы из когда-то черного сатина. “Ничего-ничего! – азартно кричала Дора Яковлевна, не переставая хлопать в ладоши. – К октябрьским праздникам все достанем! Сорочки! Сапоги! Баян!”

"И думаете, я не добилась? Думаете, мы не заняли первое место на городском смотре?!"

Этот рефрен умилял Зародыша. По нему легко было отыскивать светлые минуты скучной старости Доры Яковлевны.

Концерты, яркие костюмы, роскошные грамоты, скромненькие подарки, яростное соперничество с другими детдомами, репетиции на поляне под соснами, лихое гиканье – только это впоследствии и осталось в памяти Доры Яковлевны, оттесняя назад и делая почти невидимым все другое, нудное, уродливое, чем приходилось жить изо дня в день. И объясняя себе или другим, как это она решилась уйти с привычной работы, Дора Яковлевна напирала исключительно на свои разногласия с начальством.

Разногласия действительно были. Дора Яковлевна считала, что для новых, послевоенных воспитанников прежние методы работы не годятся. И держать взрослых детей и малышей в одном коллективе не только не полезно, а просто вредно.

Но Зародыш видел одновременно всё и не мог подправлять свое будущее – подобно тому, как Дора Яковлевна с помощью выборочно слабеющей памяти подправляла свое прошлое. Поэтому он знал, что дело обстояло куда прозаичнее. Просто Доре Яковлевне надоело ездить на работу тремя транспортами, а школа, в которую она устроилась преподавательницей русской литературы, находилась в двух шагах от дома.

К тому времени у Доры Яковлевны уже начались проблемы с ногами. Болели стопы, болели тазобедренные суставы. Так она расплачивалась за недолгий блеск сцены, за пуанты неважного качества, за гранд жетэ из вагона в вагон.

Мики возил ее на консультации к известным хирургам, ортопедам, гомеопатам. Он сам платил, сам рассказывал, что беспокоит Дору, особенно напирая на благородное происхождение болезни.

– Видите ли, доктор... – начинал он своим аккуратным, как у диктора, голосом, пока Дора за ширмой спускала чулки. – Моя сестра – балерина, у нее – анкилоз...

Дора молчала, не вносила уточнений. Благодаря этой болезни – мучительной, уродующей ноги – она снова чувствовала себя балериной. Будто над жизнью ее прочертили циркулем полукруг. От юности, от “Лебединого озера” – до содовых ванночек, компрессов и массажа. И, втирая в кожу пчелиный яд, она снова испытывала давно забытое артистическое волнение. Морщилась от боли с горделивым аристократизмом. Ничего подобного не воскрешали в ней ни

отчаянные детдомовские пляски, ни тем более балетный кружок, который она организовала в школе.

Двадцать рублей дополнительно к зарплате – вот единственное, что давал Доре Яковлевне этот кружок. Мальчики туда ходить стеснялись, да и девочкам быстро надоедал "вальс цветов" или "танец снежинок". Слабенькие домашние дети боялись поцарапаться или ударить коленку. Дора Яковлевна скучала и даже не очень заботилась о том, чтобы это скрывать.

Собственно, и преподавание литературы не доставляло ей особой радости. Из года в год с изнурительным воодушевлением повторять одно и то же – о Базарове, об Онегине... Она несколько приободрилась было в шестидесятые годы, когда вошло в моду высказывать собственные мысли и отступать от истин, изложенных в школьных учебниках. Но оказалось, что особых противоречий с учебниками у нее как бы и нет. И вся вольность, которую она себе позволила, заключалась в том, что Дора Яковлевна стала рассуждать о литературных героях так, будто речь идет о соседях или родственниках. Иногда на уроке она расходилась почти как сплетница на коммунальной кухне. Особенно доставалось от нее Наташе Ростовской – и не столько за историю с Курагиным, сколько за то, что, едва потеряв жениха, Наташа тут же вышла замуж за его друга. “Женщина глубокая, действительно благородная, отказала бы Пьеру и была бы всю жизнь верна памяти такого человека, как князь Андрей!”

Слушая Дору Яковлевну, ученики догадывались, что она сравнивает судьбу Наташи со своей собственной судьбой.

Если быть справедливым до конца, то никакому такому Пьеру Безухову она не отказала. Разве что верному, порядочному, невзрачному Николаю – да ведь и тот так никогда и не отважился поговорить с ней напрямик. А те мужчины, с которыми ее неуклюже знакомили сотрудники и соседи, были во всех отношениях хуже Николая. Кстати, никто из них не проявил особой настойчивости. И это странно, поскольку Дора действительно была неглупа и хороша собой.

В любом случае Мики сильно преувеличивал, без конца повторяя с благоговением: "Она столько раз могла устроить свою жизнь, но не захотела..." Зародыш сердился на Мики, ибо видел, как Дора, сперва пропускавшая слова брата мимо ушей, на старости повторяла их без зазрения совести. И вдобавок еще с особым нажимом, будто в укор Мики: дескать, она, Дора, не изменила памяти Броньки, а он, Мики, изменил.

В чем, собственно, она видела измену? Или сам Мики наводил ее на эту мысль? Он постоянно вел себя с сестрой так, будто старался загладить какую-то вину. Точно так же вела себя и Соня. И даже их ребенок...

Каждое воскресенье они проводили вчетвером. Это нисколько не напоминало те веселые выходные с вылазками на остров, которых когда-то ждали всю неделю. О реке, о катерах даже не упоминали. В воскресенье с утра занимались домашними делами, а в час дня Мики с женой и сыном отправлялся в гости к Доре. С трюфельным тортом и какой-нибудь дорогой селедкой или колбасой. А то и с зажаренной дома курицей. Яшеньку, племянника, Дора встречала с неизменно шумной радостью, с ясным, энергичным лицом, какое бывало у нее на работе. Для Мики и Сони существовало другое выражение лица,

поверх детской головки. Не то чтобы неприветливое... "Ну что ж... Вы надеетесь отвлечь меня от моих мрачных мыслей, и я готова вам немного подыграть..."

Она отправлялась на кухню и ставила на огонь начищенную заранее картошку. Соня шла за нею. В кухонных хлопотах напряжение ослабевало. Затем садились за стол. Хвалили селедку. Отчего-то всем было слегка неловко, что она оказалась удачной.

Чай пили подолгу. Обсуждали международное положение. "Может, ты приляжешь? – предлагала брату Дора. – Я достану подушки". И Мики всегда отказывался. Он садился у окна с журналом. Надевал очки. Соня искала, что бы починить, укоротить или удлинить для Доры. Мыть посуду Дора никому не разрешала. В квартире у нее было очень чисто, даже слишком, как в каком-нибудь солидном учреждении. Мальчик часами возил по полу машинку и гудел с монотонным напором.

– Яшенька! Иди сюда! Покажи мне, как ты читаешь.

Малыш поднимался с пола и без раздражения бубнил по складам что-то из сборника сказок, который Дора держала в доме специально для него. Яшенька был покорен и прост, очень под стать этим длинным воскресным дням.

– Жи-ла бы-ла де-воч-ка... Ее зва-ли...

– Обними тетю, – говорила Дора. – Покажи, как ты ее любишь.

И Яшенька со спокойной готовностью обнимал. Мики отрывался от журнала, смотрел поверх очков своими длинными говорящими глазами. "Да. Это не Лизочка. Прости. Но таких ведь и не бывает..." И Дора отвечала ему строгим выражением лица. "А я и не ждала никакой замены Лизочке. Я принимаю этого ребенка таким, каков он есть, ни с кем его не сравниваю. Не смотрю на него, как на неудавшийся пирог. Потому он и любит меня больше, чем тебя".

Зародыш видел, что Дора несколько переоценивает Яшину привязанность к себе. Да, он никогда не обнимал отца, но если бы тот попросил, обнял бы с той же готовностью, что и тетку. Да, он оставался у нее ночевать, но не потому, что она читала ему на ночь, не потому, что специально для него держала в морозилке мороженое и позволяла есть один за другим соленые огурцы. А потому, что так устроен мир: нужно оставаться у Доры на ночь, когда она просит.

И шла эта жизнь, год за годом. Яша рос, не меняя ее распорядка. Ну, разве что вместо мороженого – поздний матч по телевизору. Дора понемножку седела и раздавалась книзу. У Мики углублялись морщины возле рта. А Соня так и вовсе не менялась. Ее миловидное печальное личико всегда выглядело немножко детским. Крошечный носик, крошечный горестный ротик, застенчивые круглые глазки. Издали могло показаться, что это высокая девочка в тяжелой коричневой шубе, с шерстяным ажурным шарфиком на темной курчавой головке, повзрослому причесанной, идет рядом с длинноногим, хорошо одетым горбуном. Чуть позади плелся мальчик... Поравнявшись с Дориными окнами, они останавливались и махали ей на прощанье. Дора смотрела им вслед, пока они не садились в трамвай. Она видела, как мальчик, взрослея, старается все дальше держаться от родителей. Ей было больно, что Яша стыдится отца, но она не осуждала его: помнила себя в детстве и свои ощущения при появлении Мики.

А вот кого она осуждала – так это Соню. Постоянно жаловалась на нее. Соседям, сотрудникам в учительской, а позднее – и вовсе незнакомым людям. "Никто не заставлял ее выходить замуж за больного человека! – говорила Дора

Яковлевна с невесть откуда взявшейся еврейской горечью в интонации. – Но если уж ты вышла – что ты ходишь с кислой миной, как будто хочешь всем показать, что тебя выдали за него насильно?!"

Тихая мягкая Соня чувствовала Дорино раздражение, но полагала, что всему виной трагедии, которые обрушились на Дору с самого рождения. Она бы не поверила, скажи ей кто-нибудь, что Дора ее недолгобливает. Не поняла бы, за что. Ведь Соня-то никогда не думала, что "продала себя за тарелку супа". Ее горестная гримаска вовсе не означала, что вот, мол, ей, молодой и красивой, пришлось выйти замуж за калеку. Означала она другое: "мой муж тяжело болен, и я могу в любую минуту остаться вдовой так же, как бедная Дора". Более того: отчасти это вечное выражение Сониного лица относилось лично к Доре, к ее несчастной судьбе, которую Соня считала тесно связанной со своею собственной.

Соня знала историю Дориной жизни со слов Мики. При желании она могла бы составить себе реальное представление о том, что за чем следовало и как все было на самом деле. Но ей это было не нужно. В погибшем прошлом ей мерещились лишь сказочный блеск и обаяние, которые и сам Мики, возможно, несколько приукрашивал в своих воспоминаниях. Соня восхищалась Италией, гордилась родителями мужа, любила Бронек, обожала Лизочку. Скромненькая балетная карьера Доры казалась ей блестящей и прервавшейся исключительно из-за войны. "Понимаете, – вздыхала Соня, – она была прекрасной балериной! Танцевала в оперном театре! Но после гибели мужа не смогла туда вернуться. Он ведь был балетмейстером, и ей там все о нем напоминало!"

Бедная, милая Соня! Как она спешила выключить радио, когда оттуда доносилась музыка Шопена! Что-то видела по Дориному лицу? Улавливала каким-то десятым чувством, что этого нельзя, не надо? Хотя Дора не только ей – никому вообще не рассказывала, что не может слышать Шопена. С годами ее ревность к Польше, ко всему польскому переросла почти что в ненависть. Ей казалось, что с помощью этой музыки, чересчур соблазнительной, чересчур красивой, две полуживые старухи заманили Бронек к себе, в серый, неприветливый город, в неудобный дом – и погубили его, утащили за собой в землю, в гигантскую свалку необмытых, неуложенных тел.

Тяжелее всего было слышать Второй концерт. Тот, который когда-то мечтал поставить Бронек, воодушевленный больничными воспоминаниями Мики. Стоило ей услышать два-три такта – и в воображении возникала ровная земля, серый песок, сквозь который прорастают сотни человеческих рук, танцующих под эту музыку, слаженно и податливо следующих за ней.

Ничего этого не могла знать Соня. Но при первых же звуках какой-нибудь мазурки или вальса вскакивала, переключала программу, а то и вовсе выдергивала штепсель, неумело изображая при этом головную боль.

А Дора до самой смерти толковала про суп, про теплую комнату... Медсестрам из Красного Креста, которые два раза в неделю приносили ей хлеб, молоко и творог. Свидетелям Иеговы, которые просвещали ее относительно приближения конца света.

О своей молодости она рассказывала лишь особо доверенным. И то как-то неохотно – причем пользовалась почему-то словами и выражениями Мики. Это было естественно, когда речь шла об Италии и о родителях. Но точно так же она говорила о балете, о Бронке, о Лизочке, будто и об этом обо всем узнала от

брата. Может быть, потому, что в его изложении все выглядело как-то намного значительнее, красивее.

С ней явно происходило нечто странное. Дора Яковлевна помнила каждую мелочь, каждую минуту своего недолгого счастья – и вместе с тем с некоторых пор ей приходилось чуть ли не внушать себе: “да, все это было, все это действительно происходило со мной”. Что-то съехало в ней, потеряло устойчивость. Ей стало трудно говорить о муже, о дочери: казалось, люди притворяются, будто верят ей, а на самом деле знают, что это всего лишь сиротская детдомовская байка, вроде отца-комиссара и боевой подруги-матери. Кстати, весь этот вздор, созданный когда-то наивной детской фантазией и вроде бы давно забытый, почему-то вдруг воскрес и засуществовал не менее реально, чем Бронек и Лизонька. И что смущало Дору Яковлевну больше всего: вскрикивая от боли, вздыхая от одиночества, прося жалости, она мысленно обращалась не к своим настоящим родителям, а к этим, выдуманым.

Иногда, опасаясь, что недоверие слушателей вот-вот прорвется откровенной ухмылкой или даже смехом, – как это случилось с подружками в детдоме – Дора Яковлевна спешила достать из ящика большую красивую фотографию Бронька, которую Мики разыскал после войны в архивах оперного театра. У нее хранились и два любительских снимка Лизоньки, но их Дора Яковлевна никому не показывала: снимки эти отчего-то покрылись сиреневыми и желтыми пятнами и на них почти ничего нельзя было разобрать.

В театральной программке – единственной, которая сохранилась у Доры – как назло, отвалился уголок, где была напечатана ее фамилия. И Дора Яковлевна старалась компенсировать эту утрату, демонстрируя гостям искалеченные пуантами ноги...

Уверенной она становилась лишь тогда, когда речь заходила о войне, о поезде, о плывущих обломках. Хотя обломков становилось все больше, в поезде все прибавлялось вагонов. Дети спали на коврах уже не двое, а трое суток, и росло количество жен и любовниц у директора Наманганского детдома...

Дора Яковлевна не собиралась никому ничего доказывать. И утерянное письмо той самой девочки, Гали Шаломеевой, принималась искать только потому, что вспоминала о нем и надеялась, что на этот раз оно найдется.

Зародыш с грустью наблюдал за тем, как раз за разом Дора Яковлевна вываливает из письменного стола, из комода, из тумбочки кучи старых бумаг и ненужных вещей. И в который раз досадовал, что никак не может ей помочь. Он-то видел, как Дора Яковлевна, на следующий день после отъезда брата, перечитывает Галино письмо в последний раз. Как укладывает его в конверт вместе с фотографиями Мики, Сони, Яши. Как засовывает туда же записную книжку Мики и четыре лавровых листика, которые он когда-то запаял между двух прозрачных пластинок на выставке американской пластмассы. Как заворачивает пакет в голубую клеенку и все это прячет за швейную машину, пылящуюся на шкафу.

Зародыш не мог понять, почему Мики не рассказал сестре, что старая записная книжка – подарок Отца. Почему не объяснил, что это за лавровые листики. Досаднее всего было то, что ничего о них не знал и сам Зародыш.

Можно было лишь удивляться тому, что Дора, совершенно не склонная к сентиментам, отнеслась вполне уважительно к странному наследству брата. Сразу же по возвращении из аэропорта она внимательно пролиставала записную книжку. Первые странички кто-то вырвал. Три или четыре были исчерканы крупными цифрами и латинскими буквами, написанными детской рукой. Дальше шла чистая и довольно свежая бумага. Кроме серебряной птички, украшавшей обложку, Дора не обнаружила ничего примечательного. И все-таки не положила ее возле телефона, не засунула в нее кулинарные рецепты, которые неизвестно зачем вырезала из газет. Видно, почувствовала что-то – раз спрятала вместе с главной своей драгоценностью, с этим самым наманганским письмом.

И все эти поиски, вся эта бестолковщина для Зародыша происходила одновременно – только халаты на Доре были разные. Да очки. Да сама она была все корявее, седее, строже, обидчивее.

Терпеливее всех слушала Дору одна из патронажных сестричек, Линочка, самая мягкая и совестливая. Дора очень привязалась к ней, и для того, чтобы та задерживалась подольше, отыскивала всё новые уголки, требующие уборки. А потом и вовсе утратила чувство реальности: стала уговаривать остаться на ночь. "Куда вы пойдете в такую темень, в такой мороз! Я вам постелю на диване, почитаю книжечку". А когда Линочка робко напоминала Доре Яковлевне, что дома ее ждут голодные сыновья и муж, пожимала плечами и бросала угрюмо: "Обойдутся!" Будто речь шла о каких-то докучливых эгоистах, на которых бедная Линочка должна работать вместо того, чтобы отдыхать под крылышком Доры Яковлевны.

Заперев за усталой Линочкой дверь, Дора Яковлевна на некоторое время застревала в своей крошечной передней, еле освещенной матовым шариком. Стояла, горюя о несчастной женской доле. Потом отставляла в угол клюку и, упершись в стену заклиненным бедром, доставала из-за обувного шкафчика веник и совочек, сметала песок, оставшийся на месте Линочкиных сапожек, высыпала его в ведерко, выстеленное газетой. Окружающие вещи недоброжелательно цепляли и толкали Дору Яковлевну, растравляя и поднимая в ней спрятанную обиду. Лицо ее начинало плаксиво кривиться, но она тут же одергивала себя строгим детдомовским окриком: "Эй, Дорка! Ты что это разнюнилась?" По возможности бодро добиралась до телевизора, щелкала ручкой, пока на экране не появлялось что-нибудь, способное привлечь ее внимание. Но уже через несколько минут по экрану нагретого телевизора начинали бегать черные полосы. И, глядя на эти полосы, Дора Яковлевна думала, что вот точно так же прошла вся ее жизнь.

Обида, не пролившаяся слезами, разбухала, разрасталась. Обида на вещи, на тесный коридор, на собственное тело, стареющее быстрее, чем вельветовый халат, на детдомовских подружек, на Линочкиного мужа, на балет, который только зря испортил ей ноги, на Броньку, говорившего, что в ней нет мелодии, на Лизочку, которая, брыкнувшись рыбкай, съезжала с ее колен, чтобы прижаться к уродливой груди Мики. Обида на своих муравьев, ни один из которых не вспомнил Дору, не подумал сообщить, как сложилась его судьба. И совершенно уж необъяснимая обида на младенцев, которые четыре дня орали, разложенные

рядками поперек полок, а Дора не спала и сторожила их, и ни одному не дала скатиться на пол, хотя вагон так и бросало из стороны в сторону!

И все же самой терпкой была обида на Соню, корыстно втершуюся в их не ахти какую счастливую жизнь и развалившую ее окончательно. Это по Сониной вине Дора осталась совсем одна и дни ее стали неразличимы: каждый день мытье подоконника, каждый день кислый творог, купленный в ближайшем магазине.

Конечно же, Соня! Как всегда, Соня! Хотя не только Зародыш, но и сама Дора прекрасно знала, как все было на самом деле и кто был настоящим виновником этого самого развала. Любимый племянник, Яшенька. Именно он после окончания института взбесился из-за какой-то ерунды с распределением и надумал уехать в Америку.

Дора прекрасно помнила тот вечер, когда Мики с Соней прибежали к ней, пришибленные, и Сонино лицо, никогда не менявшее своего выражения, на этот раз выглядело так, будто она смотрит на крушение поезда.

И вовсе не Соня, а Мики поддался первый. Зародыш ясно видел, в какое мгновение произошел этот переход, этот... щелчок в сознании. Вот он сидит... низко над столом опущенная голова... длинные пальцы, вцепившиеся в нердеющие волосы... И вдруг поднимает глаза, а в них уже – новая мысль, удивленное прозрение... будто свет, отраженный водой, ударил в лицо. Он начинает толковать что-то о Яшином будущем, которое они не имеют права портить, о том, что если какие-то перспективы для них и закроются в связи с Яшиным отъездом – то что это, в сущности, за перспективы? – пока не произносит, наконец, главную ахиною: "А что, собственно, держит здесь НАС? Ты только подумай, Дора! Мы можем увидеть Италию! Хоть на пару месяцев оказаться на родине, Дора!"

– Какая там родина?! – вскипела Дора. – Лично моя родина – здесь!

– Ты же сам говорил, – поддержала золовку Соня, – что не знаешь, в каком вы жили городе!

– Не знаю, но я бы узнал его с одного взгляда!

Тот однажды появившийся свет так и остался в длинных глазах Мики – несмотря на все ссоры с непоколебимой Дорой, несмотря на унижения в ОВИРе, в домоуправлении, в комиссионных магазинах, несмотря на множество других предотъездных мучений... Казалось, он чуть ли не радуется им, будто это необходимые ступени в некоем ритуале...

Дора видела это счастливое возбуждение, видела, что у него даже дыхание изменилось: стало каким-то прерывистым, учащенным. Но мишенью своей она избрала бедную Соню, которая воспринимала происходящее как катастрофу, как неслыханную жертву во имя счастья ребенка.

Вся Сониная сущность покоилась на двух началах: преданная любовь и привычный, раз и навсегда заведенный порядок. Теперь она должна была отодрать, по живому, одно от другого. И, возможно, самым страшным для Сони было то, что они бросают "несчастную, одинокую Дору на произвол судьбы". Хотя кто кого бросил на самом деле? Может быть, именно Дора? Ведь она не только отказалась ехать. Она почти перестала встречаться с ними, когда речь всерьез зашла об отъезде. Дошла до того, что не поехала провожать их в аэропорт.

Просто легла спать, как ни в чем не бывало. Но уснуть не смогла и под утро, когда стало уже понемножку светать, вдруг села в кровати и сказала себе: "Я же никогда больше их не увижу. И что мне, собственно, могут сделать? Лишить пенсии? Уволить с работы? Ну и пусть увольняют! Разве у меня самой не застрял уже в горле этот Павел Корчагин?"

Она бросилась на улицу ловить такси. Гроыхающая частная колымага довезла ее до аэропорта. Дора вбежала в зал и с облегчением увидела заплаканную Соню. Рядом с ней Яша деловито забрасывал в чемодан раскуроченные таможенником вещи. Завидев в толпе тетку, пусть и делающую вид, что изучает расписание рейсов, он одобрительно вскинул брови и легонько подтолкнул мать. Соня благодарно заморгала, и слезы ее покатались еще быстрее.

Мики разговаривал с таможенником. Он не обернулся к Доре, но сразу засек ее уголок глаза, улыбнулся ей... виском, бледной скулой. Как будто вовсе не удивлен, как будто появление Доры в аэропорту и ее конспиративное поведение были спланированы ими давно и во всех подробностях. Он улыбался сестре, не прерывая разговора. Таможенник сурово крутил в руках старую записную книжку – ту самую.

Было ясно, что Мики пытается уломать его, предлагает разные варианты, но тот ничего не желал понимать. Он не позволил Мики даже взять в карман четыре лавровых листика, запрессованных в пластмассу. Похоже, эти листики его особо насторожили. Мики помешкал растерянно – и передал свои "драгоценности" мужу Сониной покойной сестры, который приехал из Кишинева попрощаться. Тот с готовностью сунул их в большой желтый баул, куда укладывал все не пропущенные таможей вещи. "Это – тебе", – скользнули по Доринуму лицу глаза брата.

Дора смотрела на Мики и пыталась понять, что же так отличает его, так выделяет в этой толпе? Не горб. Не элегантность одежды – хотя даже безразличная к вещам Дора на этот раз оценила, с каким благородным вкусом подобран костюм песочного цвета, чуть более светлая рубашка того же оттенка, галстук...

Пожалуй, в этой толпе он один был внутренне спокоен и несуетлив. У него был вид человека, который знает, куда едет.

Мики поднимался вверх на эскалаторе, полуобернувшись к Доре, и Дора впервые подумала, что он красив – вот такой, как есть. И что он почти не изменился с того дня, когда она впервые увидела его, сидящего на лавке у ворот детдома.

Ей было очень странно – нет, ей просто не верилось, что брат оставляет ее навсегда с такой легкостью, с такой простой светлой улыбкой! Но какой-то частью существа – не упрямым своим разумом, а чем-то, ему не подвластным – Дора сознавала, что заслужила это предательство. Что со дня их первой встречи она непрерывно делала все для того, чтобы сейчас он мог вот так уплывать вверх, с тонкой кистью на черном поручне, со светлым плащом, перекинутым через локоть. Казалось, не эскалатор поднимает его, а собственное нетерпение. Он будто уже начинал набирать высоту...

Как жалел ее Зародыш в эти минуты! Он и сам с удивлением вглядывался в лицо Мики. Гадал, откуда такая легкость. Пытался обнаружить на этом лице тень предчувствия. Понять, догадывается ли Мики о том, что в Италии ему суждено

умереть, возвратиться на фреску Санта-Тринита. Зародыш полагал, что догадывается. Не просто догадывается – знает, и только потому решился оставить сестру. И еще ему казалось, что взгляд Мики, ласковый и утешающий, устремлен прямо на него, Зародыша. Минуя Дору, проходя сквозь нее.

"Господи, да ведь я и есть Дора!" – в который раз повторил про себя Зародыш. И снова не смог смириться с этой мыслью. И снова искал ей подтверждение во множестве других, мимолетных и пристальных взглядов Мики, несущих в себе некое тайное знание, недоступное Доре. Знание о ней же самой. И в который раз Зародыш задал себе вопрос: неужели тот удар спиной о рельсы что-то сдвинул в естественном порядке вещей? Пробил брешь в перегородке, разделяющей сознание человека до и после рождения? И если это действительно было так, то, Мики, несомненно, знал наперед всю свою жизнь.

Зародыш восхищенно дрогнул: в этом случае Мики должен был помнить, как плавал в мягкой колбочке внутри гибкого подвижного тела Матери. "В этой же" – и он провел ручкой по мягкой, гладенькой оболочке. Ему показалось, что ручка движется как-то по-новому, чуть точнее, чем это было вчера. Он подвигал головой, губами, попытался разомкнуть веки – и почувствовал режущую боль, будто от этого усилия разошлось гладкое место на коже. Дорина жизнь, вечно стоящая перед его глазами, исчезла. Стало совсем-совсем темно.

"Бедная мамочка! Знала бы ты, какую одинокую несчастную старуху вынашиваешь в своем радостном юном теле! Ничего ты во мне не угадала! Разве что одно: я действительно никогда не буду плакать. Буду я сирота. Вдова. Мать убитого ребенка. И никогда не заплачу. Ни о тебе. Ни об Отце. Потому что никогда вас не узнаю. Не заплачу о муже моем, Бронеке, не заплачу о Лизочке. Ибо сначала буду уверена, что они найдутся, а потом пойму, что чудо не случится, – но произойдет это постепенно, почти незаметно. Там, во Львове, будет поздно плакать. Мне даже легче станет, когда я узнаю, что не было Бронека ни на пристани, ни на вокзалах. И поздно будет плакать о Мики, когда придет письмо с известием о том, что он умер одиннадцать лет назад".

Зародыш закрыл глаза, и снова стало светло. Застучали колеса, закричали истерично паровозные гудки. Застегал, будто кнутом, резкий требовательный голос: "Тяни подъем! Тяни подъем! Дора, спину! Дора, подбородок!" Загремел вальс из "Евгения Онегина", зачирикал танец маленьких лебедей, завывли сирены, заплакал спящий мальчик на казенном кожаном диване – так, будто оплакивал не только свою покалеченную жизнь, но заодно и Дорину. Хлопнула дверь за патронажной сестрой Линочкой, затрещал поломанный телевизор Доры Яковлевны, захрустели ее больные старческие суставы, зашуршал вскрываемый конверт.

Это было письмо Сониного кишиневского родственника. Коротенькое, неопрятное, коробящее обилием ошибок. С выписанным по одной букве нью-йоркским адресом Сони и сообщением о том, что Мики умер вскоре после приезда в Италию, там и похоронен.

Дора Яковлевна сидела на кровати, с мятым листком в руке, и бессмысленно следила за бегущими по экрану полосами. То, что она испытывала, не было потрясением, горем. Напротив, сразу будто отпустила, свалилась тяжесть. Оказалось, что она столько лет мучилась угрызениями совести совершенно напрасно! Не беспокоился о ней бедный Мики, не обижался за то, что она запретила ему писать и звонить.

И более того... Она испытывала нечто вроде удовлетворения... Как человек, который предупреждал других о грозящей им опасности – а те его не послушались. И вот, пожалуйста, печальный результат.

Разумеется, победная горечь ее улыбки была обращена в первую очередь к Соне, ибо за эти долгие одиннадцать лет Дора Яковлевна только и делала, что крепла в убеждении: Соня увезла ее брата невесть куда, чтобы избавиться от нее, от Доры.

Дора Яковлевна не знала, как быть. Писать Соне ей не хотелось, но вместе с тем это была единственная возможность наладить связь с племянником.

Пока Дора Яковлевна раздумывала, Соня написала ей первая. Это было длинное письмо, полное благодарности неизвестно за что. Надо думать, что Сонин родственник, получив уклончивое послание Доры, истолковал его очень просто: Дора вышла на пенсию и теперь уже не боится переписываться с заграницей.

Соня сообщала, что живет одна и устроена неплохо, что, если Дора не против, Соня может ей понемножку помогать деньгами или посылками. Что Яша за это время успел жениться и развестись, а сейчас работает в банке и быстро растет по службе.

В основном же письмо состояло из укоров самой себе. У Сони выходило, что это она халатно относилась к здоровью Мики, чего-то не досмотрела, не доделала, не заставила Мики сходить к профессору, которого рекомендовала Дора, слишком робко вела себя в итальянской больнице... Ясно было, что для Сони эти одиннадцать лет прошли, как один месяц. А для Доры... Она уже и понятия не имела, о каком профессоре речь. Да и болезнь Мики как-то выветрилась из ее памяти. Смутно маячило что-то... Воспаление легких? Вроде бы он задышался слегка, но не придавал этому значения. Или хорохорился?

Впрочем, как казалось Доре Яковлевне, все это происходило еще тогда, когда Яшенька был ребенком. Из предотъездного же времени в памяти застряли только длинные, неприятные споры с братом. Его настойчивые уговоры. Дошло ведь до того, что Мики начал доказывать сестре, насколько пуста и бессмысленна ее жизнь. Уверял, что любая перемена может привести только к лучшему. И все ссылаясь на Италию, будто главным во всем этом была Италия. И от этих слов его, от странного возбуждения казалось, что нет на свете никакой Италии, что она давно исчезла, как исчезли родители, – а, может, и вовсе была выдумкой Мики.

Дора спорила, не стесняясь в выражениях. Она называла тех, кто покидает родину – предателями, а Мики – дважды предателем, поскольку его, сироту, эта родина растила, лечила, выучила. Дора предсказывала, как горько будет Мики раскаиваться, когда поймет, что такое чужбина.

Нельзя сказать, что Дора Яковлевна за эти годы пересмотрела свои взгляды. У нее как бы не стало взглядов вообще. Что-то съело их, источило. Главным образом одиночество, которое Дора Яковлевна называла словом

"неблагодарность". Она имела в виду не Родину – от Родины она не ждала ни наград, ни повышения пенсии. Но кто-нибудь, кто-нибудь из тех, кого она учила танцевать "вальс цветов", кому из года в год рассказывала о непостоянстве Наташи Ростовской, пока артрит не приковал ее к дому, – мог хотя бы позвонить?! Ведь большего и не надо было!

Получалось, что Дора Яковлевна рассорилась, рассталась с братом, не писала ему – ради чего? Ради какого счастья, ради каких таких богатых возможностей? Переходить оледенелую мостовую с бестолковым светофором? Назойливо удерживать усталую молодую женщину, которая рвется к своей семье?

Что же теперь получалось? Кто помнил о ней все эти годы? Кто написал ей? Ведь даже не Яшенька! Соня, главная виновница ее бед, ее одиночества!

Изо дня в день перечитывая это письмо, Дора Яковлевна обнаруживала в нем все новые и новые смыслы. Она вдруг поняла, что Яшенька живет в стороне от Сони, какой-то своей, совершенно отдельной жизнью. Что Соня, пожалуй, не менее одинока, чем сама Дора Яковлевна. Что переписка с ней, с Дорой, возможность помогать – были бы для Сони не широким жестом, не исполнением долга в память о покойном муже. Она хотела о ком-то заботиться, для кого-то стараться и почти откровенно просила Дору о такой милости.

И все-таки Дора Яковлевна с ответом не спешила. Прикидывала, взвешивала... Единственное, что говорило о некотором ее смягчении – банка варенья, извлеченная из недр захлавленной кладовки.

Линочка, обнаружив на столе банку, заполненную чем-то непонятным, ржаво-коричневым с белыми прослойками, хотела ее немедленно выбросить. Но Дора Яковлевна строго ответила, что это подарок жены брата. В тот же вечер она выломала ножом кусочек и попила с ним вприкуску чай. Дора Яковлевна так и не поняла, из чего было сварено варенье, но решила, что на вкус оно не хуже магазинной карамели.

Зародыш знал, что это крыжовник, что никакого вреда от него Доре Яковлевне не будет, и почти с нежностью наблюдал за новым ритуалом: по воскресеньям, прослушав вечерние новости, Дора Яковлевна заваривала крепкий чай и доставала из буфета Сонино варенье. Старательно сопя, била молоточком по отвертке, специально подобранной для этого дела. Особо довольной она бывала, когда осколочек получался удобной формы и не слишком большой.

Где-то очень высоко ударил колокол. И еще раз... Мелодичный незнакомый звук опускался вниз догоняющими друг друга кольцами. Они сливались, не совпадая, и создавали почти непереносимый гул.

Зародыш отвлекся от своих невеселых мыслей и обнаружил, что сбился во времени и не знает, где находится. Он предположил, что уже вечер. Пространство утратило свою радостную дневную плотность. Море было спокойно, почти бездыханно. И не далеко внизу, как привык Зародыш, а в одной плоскости с улицей, по которой катила коляска. Это пугало Зародыша: казалось, море способно ненароком слизнуть одним движением все эти улочки, готовые зарыться в ночь.

Лошади остановились на незнакомой площади. Необычно широкая, она очень понравилась Зародышу. Ему хотелось задержаться здесь подольше,

запомнить задумчивый, спокойный звук ее дыхания. Но они уже подходили к большому дому, толстые стены которого надежно удерживали царящее внутри возбуждение. Не слышно было ни шума голосов, ни музыки, но окна беспокойно вибрировали, и подрагивала, полязгивала тяжелая дверь, окованная медными украшениями. Зародыш съежился, когда она распахнулась с капризным скрипом и звоном.

Впрочем, вестибюль, открывшийся за ней, был прекрасен! Он мгновенно захватывал входящего в свое возвышенное и затейливое пространство, накатывающее тремя изломами шелестящей мраморной лестницы. Глыбы воздуха обрушивались через гладкие перила балконов, приветливый сквозняк засасывал в ликующие пасти дверей. Звенела и тревожила стеклянная и фарфоровая дребедень.

Радостные всплески приветствий плавно переходили в спокойное течение бесед. Было ясно, что родителей в этом доме знают и любят. В разных концах зала говорили о Матери. Как она прекрасно выглядит, как идет ей это темно-синее платье. Как восхитительна она была в "Богеме" и как жаль, что она так скоро уезжает. С темы отъезда неотвратимо соскользали, разумеется, на тему войны.

Зародыш не мог взять в толк, что это за странная война. Не было в ней ни малейшего сходства с тем, что предстояло пережить Доре. Само это слово в понимании Зародыша никак не вязалось ни с праздничным вечером, ни с шелестом дорогой одежды, ни с гулом возбужденных голосов, в которых, независимо от того, что, собственно, произносилось, слышно было удовлетворение собственным умом, глубиной понимания... Та война, которая стояла перед глазами Зародыша, во всей своей боли, нищете и грязи, делала совершенно невозможными такие вот вдохновенные разговоры, любованье остроумными округлыми фразами.

Глядя на Дору, на ее будничную, в общем-то безопасную жизнь в далеком от войны Ташкенте, Зародыш и представить себе не мог ее нарядной, расхаживающей в каком-нибудь богатом зале, вот такой же безмятежной. Ему даже стало неловко за всю эту радость, за весь этот свет. Впрочем, он тут же сказал себе, что ничего не понимает ни в этой жизни, ни в этой войне, и что ему, который знает, как скоро кончится все это счастье и вся эта безмятежность, грех даже на секунду ощутить стыд за своих родителей. И будто в наказание за этот стыд где-то внизу на лестнице послышался голос человека, который утром уговаривал Отца перевезти в Россию какие-то бумаги. Зародыш испугался, что он снова привяжется к Отцу со своими просьбами, хотя и понятно было, как глупо беспокоиться об этом.

Тот человек действительно очень скоро подошел к Отцу – но заговорили они вовсе не о бумагах, а о самых безобидных вещах. Об опере. О раскопках в окрестностях города. О каком-то новом лекарстве, выгоняющем камни из почек...

Зародышу плохо был слышен этот разговор, потому что играла музыка, а Отец находился в другом конце зала. Вообще все выглядело как-то так, будто родители пришли сюда отдельно друг от друга. Это было очень странно. Чужие мужчины один за другим приглашали Мать на танец. И Зародыш нарочно ворочался, чтобы показать, как ему неприятны, а то и вредны ее резкие быстрые движения. Но Мать танцевала с таким самозабвенным удовольствием, что ничего не замечала.

И совсем уж Зародыш расстраивался, когда Мать болтала с молодым человеком по имени Серж. У него был очень приятный ласковый голос, и он все понимал Мать шутливыми признаниями в любви. А она ругала его, делала вид, что сердится – но тоже ласково. Зародыш чувствовал, что в эти минуты Мать начисто забывает о нем. И тем более это было обидно, что в горле у нее все время дрожала мелодия, которую Зародыш считал "своей".

Где-то далеко, за двумя стенами загудел едва различимый отцовский голос. Зародыш прислушался, но слов не разобрал: мешали громкие женские шаги. Странное шуршание платья, сшитого как будто из мокрой ткани, приблизилось почти вплотную.

– Гости ждут, – сказала шуршащая дама. – Я пообещала им, что ты для нас споешь.

– Но... – чуть смутилась Мать, – все пришли сюда послушать Сержа...

– Пойдем, пойдем, – поднялся Серж. – Тряхнем стариной!

Зародыш слышал, как в длинном проходном зале подняли крышку рояля, как нетерпеливо затрепетал над ним воздух. Гости торопились занять последние пустые стулья. Кто-то захлопал. Его поддержали – нестройно, но радушно. Серж взял несколько аккордов, и Мать запела. И то, как складно, привычно это у них получилось, заставило Зародыша ревниво колыхнуться.

Серж играл обольстительно и чуть небрежно – так же, как только что разговаривал. С той же легкой насмешкой, веселым намеком, радуясь и заставляя других радоваться каждому ловкому аккорду, неожиданному скрещению голосов. Он будто сочинял эту музыку на ходу, деликатно отступая, давая дорогу не слишком сильному, но такому обаятельному сопрано Матери.

Этой арии в Дориной жизни не было. А вот другие два романса ей предстояло слышать множество раз. Так же, как и большую пьесу, которую Серж сыграл в самом конце. Это было так странно, так захватывающе: одна и та же музыка звучала снаружи, в настоящем – и внутри, в будущем. Причем быстрые, блистательные пассажи задевали, прихватывали с собой еще и стук капель, падающих с мокрого тельца Лизоньки, которую Бронек, вытащив из воды, передавал Доре на пушистое махровое полотенце.

Но полной гармонии не получалось. Может быть, по вине Сержа. Что-то вносил он в эту музыку... какую-то пугающую, губительную несерьезность.

По дороге домой Зародыш лежал тихо, сложив ручки на груди. Эта ослепительная музыка наобещала столько плохого, так растревожила его... Казалось, она не просто напороочила – накликала то, что ожидало их впереди.

Думать об этом не хотелось. Зародыш стал размышлять о том, что, может быть, Серж, фамилию которого никто так и не назвал в течение всего вечера, – какой-нибудь знаменитый пианист. И, вполне вероятно, Доре было известно его имя. Или еще забавнее: может быть, Мики знал о дружбе родителей с этим музыкантом и собирал пластинки с его записями. А потом, уезжая, оставил их Доре.

Почему-то Зародышу очень хотелось, чтобы это было именно так. Он жадно прислушивался к разговору родителей, надеясь, что кто-нибудь произнесет, наконец, фамилию Сержа. Хотя Дору, которая исправно слушала подаренные

братом пластинки (пока не сломался старый проигрыватель), никогда не интересовали имена исполнителей.

И снова Зародыш подсадовал на нее – будто Дора испортила игру, затеянную им и Мики, разорвала какой-то созданный ими круг. "Ну что мне с того? – утешал себя Зародыш. – Неужели для меня было бы так важно обнаружить, что Дора слушала именно его записи в последние годы своей жизни?" И с удивлением чувствовал, что да, почему-то важно. Что, может быть, для того и даровано ему сознание, чтобы объединить в цельные, законченные фигуры события сегодняшнего дня и долгой будущей жизни. И все его существо как бы занялось от возбуждения при мысли о том, что будут, будут еще такие же дни, как сегодняшний, и множество случайных, непонятных штрихов еще соединится и образует замкнутые круги и затейливые арабески. И не только в том дело, что ему предстоит узнать много нового, но и в том, что сам он быстро умнеет. И сейчас, вечером, выделяя усилием внимания любой эпизод из кристалла своего будущего, он замечает и понимает в нем гораздо больше, чем замечал и понимал еще утром.

И совсем по-другому видел он теперь лицо Мики, уезжающего вверх на эскалаторе – странное, нестареющее лицо, с вечной улыбкой горбуна, которая так не нравилась Доре и в которой сейчас Зародыш распознавал ответ на любой свой вопрос. И он задавал, задавал эти вопросы, вздохнув, один за другим, а Мики улыбался, ласково и успокаивающе, пока не оказывался на вершине лестницы, пока не исчезали в чужом пространстве его курчавая голова, птичья грудь, белые пальцы, лежащие на черном поручне.

Бредовая надежда блеснула вдруг и ослепила Зародыша: исчезая навсегда из Дориной жизни, Мики должен появиться здесь, сейчас же, в этом городе, в доме, куда они едут. В своем песочном костюме, в рубашке того же оттенка, с плащом на руке. И Зародыш всей силой своего нетерпения стал торопить извозчика, подгонять лошадь...

Копыта били по остывшему булыжнику с ночной осторожностью.

– Милый Серж, – сказала Мать. – Он не в состоянии поверить, что кто-то может любить не его.

– Он очень талантлив, – сказал Отец.

– Да, конечно, – согласилась Мать и зябко потерлась о рукав мужа.

Коляска мягко покачивалась, будто спешила их убаюкать – последних, кто не спит в этом глубоко уснувшем городе. Ни одно окно не светилось, не шевелились за оградами листья. Только в небе, необычно черном и высоком, зябко подрагивали звезды.

– Как бы нам всех не перебудить, – сказала Мать. – Открывай тихонько.

Отец кивнул и помог ей выйти из экипажа.

Ключ в двери повернулся почти беззвучно. Не зажигая лампу, они осторожно поднялись по лестнице. Что-то скрипнуло в комнате Мики. И еще раз, чуть громче. Мать приоткрыла дверь.

На фоне окна темнела детская головка. Всклопоченные кудряшки торчали во все стороны. Невидимая луна подсвечивала сзади тоненькую шейку, плечико, перекошенный воротничок рубашки...

– Как же это, Мики! – огорченно вскрикнула Мать. – Ты до сих пор не спишь?

– Я ждал вас, – зашептал возбужденно Мики. – Хотел вам показать...

Он повернулся, так что стал виден вдохновенный детский профиль, и что-то потянул со своего столика. Жемчужная низка простучала по дереву, аккуратно проблестев по очереди холодными огоньками. Будто крошечный поезд промелькнул в ночи.

– Мы собрали все бусинки. Застежку приделала мадам Ларок, а нанизывал я сам. Как ты думаешь, Ей будет впору?

– Я думаю – как раз! – растроганно шепнула Мать.

– Тут потом нашлась еще одна, – ободренный Мики окончательно вывернулся из-под одеяла и зашарил по столу. – Вот.

Одинокая бусина закачалась на длинной нитке.

– Мы решили, что это будет мне на память. Медальон. И вот еще...

Он протянул Матери веточку лавра с четырьмя листьями.

– Видишь: это – папа, это – ты, это – я, а вот эта, совсем маленькая – сестричка. Я хотел их раздать каждому, но мадам Ларок говорит: пусть будут все вместе. Как ты считаешь?

– Я думаю, это правильно.

– Я положу их в свою записную книжку и буду хранить всю жизнь!

Мать ласково повалила его на бочок и укрыла.

– Если бы ты знала, мама, – прерывисто вздохнул Мики, – как я по ней соскучился!

Отец улыбался, глядя на них с порога. Его огромная фигура почти закрывала дверной проем.

1998 – 2001 гг.